

**Карен СТЕПАНЯН**

# **ДОСТОЕВСКИЙ И ЯЗЫЧЕСТВО**

**(КАКИЕ ПРОРОЧЕСТВА  
ДОСТОЕВСКОГО  
МЫ НЕ УСЛЫШАЛИ  
И ПОЧЕМУ?)**

**Карен СТЕПАНЯН**

# **ДОСТОЕВСКИЙ И ЯЗЫЧЕСТВО**

**(КАКИЕ ПРОРОЧЕСТВА  
ДОСТОЕВСКОГО  
МЫ НЕ УСЛЫШАЛИ  
И ПОЧЕМУ?)**

Москва, ВБПХЛ,  
Смоленское отделение пропаганды  
художественной литературы, 1992 г.

ББК 83.3Р7

С79

**Степанян К. А.**

**С79** Достоевский и язычество. (Какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?) — Смоленск.: Бюро пропаганды художественной литературы, 1992.

Сегодня ясно, что Достоевский был зеркалом русской революции в гораздо большей степени, чем Толстой. Его предсказания реализовывались с поразительной точностью. На страницах «Дневника писателя» и в записных книжках он подробнейшим образом проанализировал глубинные причины всего, что произошло с нами в нынешнем веке и наметил пути спасения; в то же время — парадоксальным образом — в публицистике Достоевского есть ряд высказываний, которые вполне можно было бы использовать для оправдания Октябрьской революции. Автор пытается ответить на вопрос: почему, несмотря на то, что Достоевский почти все так точно, на целый век вперед, предугадал, никто его вовремя не услышал и даже не мог услышать...

**С** 4603020101-025 61-92  
018(01)-92

**ББК 83.3Р7**

ISBN 5-86788-066-4

© Москва, ВБПХЛ, Смоленское отделение пропаганды художественной литературы, 1992 г.

## I. Высвобождение «злого духа» (родословная социализма по Достоевскому)

То, что Достоевский предсказал практически все наиболее важное (и по преимуществу, увы, трагическое), что случилось с нами в XX веке, сейчас уже доказывать, я думаю, не надо. Предугадал он даже срок, в течение которого пожар революции охватит всю страну — 5 месяцев (только если Петруша Верховенский обещал в мае начать, а к октябрю кончить, то в реальности большевики утвердились у власти в стране в период с октября 1917-го по февраль—март 1918 года), «тройки» Особого совещания (Шатов говорит о «бесах»: «О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают») и многое другое. А главное — он предостерегающе указал на те гибельные пути, по которым его современники и потомки могли прийти — и пришли — к ужасающим результатам, уже очевидным теперь для многих из нас. Но предостережения писателя вовремя услышаны и поняты не были; не поняты они до конца, так мне представляется, и по сию пору.

Внимательное изучение публицистики Достоевского позволяет не только разобраться в причинах происшедшего с нами — эти причины Достоевский, как выясняется, видел и на них указывал (вопреки общепризнанному мнению, что возможность революции в России он отрицал). Вчитываясь в статьи, заметки и черновики Достоевского, можно объяснить, почему не сбылось самое, пожалуй, главное из предсказанного им — о неминуемом торжестве пролетарской революции на Западе и прочности духовной защиты от нее в России, можно увидеть, как сам Достоевский отчасти явился жертвой тех разрушительных сил, о которых предупреждал, можно, наконец, осознать, почему предвидения Достоевского, столь, казалось бы, ясные и очевидные, так и не были услышаны и как же нам действовать сегодня, сейчас.

Начнем с того, каким видел Достоевский процесс зарождения и первоначального развития социалистических идей в умах и душах людей.

В одном из политических обзоров в журнале «Гражданин» за 1873 год, где речь идет о сопоставлении католицизма и социализма («злого духа») и о том, способен ли католицизм противостоять революционной идеологии, есть такая удивительная фраза: «Папе ли, торжествующему и «непогрешимому», а не «пешему и босому», прогнать злого духа, иезуитам ли его, легкомысленным ли этим клерикалам... натертым, бесстыдным пройдохам? Нет, злой дух сильнее и чище их!»\*

Злой дух социализма при своем зарождении действительно был как бы «чист» — то есть внешне лишен будущих зримых пороков: насилия, властолюбия, тяги к наживе (и противопоставлялся писателем — с этой точки зрения — поведению верхушки католического духовенства). Ведь возник он первоначально, по точному определению Достоевского, под видом всего лишь «поправки» к христианству «и улучшения последнего, сообразно веку и цивилизации», поэтому и захватывал «сердца и умы многих», «во имя какого-то великодушия».

«Сообразно веку и цивилизации» — то есть сообразно утвердившемуся тогда в головах многих атеистическому мировоззрению. Социалистический идеал — мечта о справедливом распределении земных благ — в сознании людей существовал, вероятно, всегда. Соответственно, и попытки воплотить его в жизнь были постоянны. Но религиозное мирозерцание все же, во-первых, ориентировало сознание людей на то, что бытие человека не замыкается на его земном существовании и поэтому торжество справедливости не сводимо к распределению материальных благ; во-вторых, останавливало перед применением насилия к ближним. Однако свойственное Новому времени все большее перенесение интересов и забот человека с духовного, потустороннего мира на земной, на бытовое существование, неудовлетворенное ожидание чуда — то есть устройства **земного** благополучия и исчезновения зла и мучений в **этом** мире посредством

---

\* Здесь и далее в цитатах разрядкой или курсивом даны слова, выделенные автором цитаты, жирным шрифтом — подчеркнуты мной. — К. С.

мгновенного вмешательства Божьей воли, наконец, охватившая людей эйфория от успехов науки — способствовали быстрому распространению подобного мировоззрения в Европе. Идея личной свободы и ответственности человека перед Богом стала подменяться в сознании множества людей — в разных формах ее понимания, конечно — теорией детерминизма, внешне простой, доступной и, главное, позволяющей снять с себя вину за собственное несовершенство. А дальше закономерно следовали выводы: «Если поведение человека детерминировано, мы, зная внешние и внутренние факторы, определяющие поступки, можем воздействовать на людей в желаемом направлении, добиваясь оптимального результата. В конечном счете и те, и другие факторы сводились к одному — к социальному устройству, так как выяснилось, что внутренние детерминанты («страсти», «интересы», «мнения» и т. п.) тоже формируются под решающим влиянием социальной среды. Идеи разума складываются из впечатлений, а побуждения воли имеют своим источником внутренне поляризованное чувство удовольствия — неудовольствия. Отсюда и решающая роль воспитания, причем воспитания в самом широком смысле — воспитания всей социальной средой, а не одной только школой. Пороки и достоинства людей — зеркало состояния общественных дел, и потому совершенствование человека основывается на оздоровлении самого общества»\*. Нараставшее утверждение личности в своих силах, растущая самооценка человека и уверенность в безграничных возможностях собственной воли привели к тому, что все большее количество людей приходило к убеждению: они могут, не ожидая наступления Царства Божьего и отрицая бессмертие души, устроить земное счастье людей собственными силами, а для этого по собственному плану **переделать мир**.

Достоевский очень точно — за столетие до нынешних политологов — определил причину быстрого и широкого распространения социалистических учений. Вера в социализм: справедливое распределение земных благ, обещание скорого построения человеческого счастья на земле предлагались всем

---

\* Французское просвещение и революция. М., Наука, 1989, с. 4.

тем,— а их было в годы тогдашнего религиозного кризиса очень и очень много,— кто «давно уже чувствовал тоску без Бога...»

«...Злой дух несет с собою страстную веру, а стало быть, действует не одним параличом отрицания и соблазном самых положительных обещаний: он несет новую антихристианскую веру, стало быть, новые нравственные начала обществу, уверяет, что в силах выстроить весь мир заново, сделать всех равными и счастливыми и уже навеки докончить Вавилонскую башню, положить последний замковый камень ее. Между поклонниками этой веры есть люди самой высшей интеллигенции; веруют в нее тоже все «малые и сирые», трудящиеся и обремененные, уставшие ожидать Царствия Христова; все отверженные от благ земных, все неимущие...»

Эта новая вера первоначально действительно выглядела именно как замена или «дополнение» христианства. Одно время и сам Достоевский полагал, что «социализм — это тоже христианство, но оно полагает, что может достигнуть разумом». Как говорит в черновиках к «Бесам» один из персонажей романа — Липутин: «Социализм — ведь это замена христианства, ведь это новое христианство... это совершенно то же христианство, только без Бога». Но Достоевский не вставил эту важнейшую мысль в основной текст романа «Бесы», оставил в черновиках. Ибо он — может быть раньше других — понял, что речь идет не о какой-то новой религии, а просто-напросто о возвращении к язычеству.

В самом деле. Христианство без Бога — это первоначальное состояние тех людей, которых встретил в своем сне Смешной человек: **безгрешные** люди, в наивно-первобытном своем состоянии живущие по справедливости (которых в таком случае, однако, может развратить один маленький грешный пришелец), а социализм — это **грешные** люди, которые думают, что они могут так устроиться между собой, своими силами, чтобы, оставаясь грешными, жить по справедливости.

Достоевский писал: при отходе людей от Бога воздвигаются довольно скоро «старые, древнейшие, всем известные и поганейшие идолы».

Что такое язычество как социальное и этическое мироощущение?

1. Прежде всего, это, конечно, стремление к земному благосостоянию: чаемый результат религиозных действий — не духовное очищение, а земное благо. Если для христианского миропонимания земная жизнь является подготовкой к небесному бытию души и затем к грядущему Царствию Божьему духовно преобразованных людей, то для язычника будущая жизнь является простым продолжением земной, и надо обеспечить там такое же благополучное существование, как и на земле (для чего в захоронение кладут бытовую утварь, доспехи, коня). Обеспечивается же и то, и другое (но главным образом — именно земное благосостояние) совокупностью обрядовых действий, выполняемых не по любви к почитаемому божеству (божествам), а из страха перед ними, из желания заслужить их благоволение. (В христианстве **заслужить** невозможно — все дается по милости Божьей.) Для язычника все основное в человеческом существовании происходит на земле — и результат молитв земной, зримый: дождь, солнце, избавление от болезней, в общем, материальное поощрение его религиозных действий. (Для христианина награда — благо ближних и духовная радость). Язычник живет в постоянном страхе, среди чужого, враждебного ему мира — напротив, любовь подлинно верующего человека к Богу изгоняет всякий страх, ибо живет он в мире, созданном Богом и подчиняющемся Ему в малейшем своем проявлении.

2. Разделение людей на своих, **родных** (у древних славян был языческий кумир — Род) — и чужих.

3. Качественно разное отношение к своим и чужим; все **не свои** — враги, но не просто враги — не люди, с ними можно поступать как угодно, их можно сжигать живьем — и это будет вполне в рамках морали\*.

4. Дуализм мира — зло равно или даже превосходит по силе добро. В сотворении человека прини-

---

\* Этот пункт порой — во время устных выступлений с тезисами данной работы — встречал такие возражения: подобные жестокости и варварство нельзя приписывать всему язычеству — в частности, Древней Греции. Но, не говоря о том, что уже Древний Рим, к примеру, сюда добавить вряд ли возможно, и в самом эллинском мире — за внешней привлекательностью его облика — жестокость скрывалась немалая, и уж на рабов, во всяком случае, не распространялись нормы морали, принятые между свободными гражданами.

мали равное участие и доброе, и злое начала мира. Люди слабы и беззащитны перед противостоящими им злыми силами, зависимы от мира (в христианстве истинно верующий непобедим даже для самого дьявола). Скажу здесь, что с человеком, который не убежден в конечности зла и абсолютной бесконечности и безусловной последней победе добра,— можно делать все что угодно, его можно «уговорить» на любой грех! Защита от зла для язычника осуществляется не посредством укрепления и возвышения духа, а с помощью чего-то внешнего, материального: амулета, пояса, заговора и других магических обрядов.

5. Хранитель жизни, божество — земное, зримое существо, кумир, отсюда: обожествление главы, вождя, начальника как главного оберегателя от зла. Все жрецы — особые, строго отделенные от обычных людей существа, говорящие с народом от имени богов, верховный жрец — зачастую носитель и высшей материальной, и духовной власти над сознанием сородичей. У славянских народов так было почти повсеместно; в ряде славянских языков слова, обозначающие главу семьи, вождя и верховного волхва, жреца, почти совпадают: kněz — kněž.

Историк свидетельствует: «Жреческого сословия не было в Древней Руси. Старший в роде был в то же время и жрецом. Владимир, как князь — глава народа, лично приносил жертвы»\*.

**Язычество наиболее соответствует земной, не до конца обоженной природе человека, поэтому оно — до определенного срока — вновь и вновь репродуцируется в истории человечества, и даже спустя много веков после утверждения христианства живет в людях, вступая в разного рода сочетания с христианским духом, зачастую исподволь беря верх над ним, вытесняя его по сути и действуя под его именем. Так происходило тогда, когда духовным требованиям христианства — например, тем из них, которые призывают к искоренению зла, к соблюдению заповедей — придавался земной, материальный смысл. Сжигание еретиков, колдунов и ведьм на Западе, казни раскольников на Руси — крайние проявления такой под-**

---

\* Гальковский К. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Том 1. Харьков, 1916, с. 5.

мены, механическое исполнение церковных обрядов, заговоры и суеверия — проявления бытовые. Именно апелляция к этому языческому подсознанию обеспечила социалистическим теориям столь быстрый успех у всех, кто разочаровался в христианстве; страдающая от собственной нищеты или несовершенства мира вокруг, у кого не доставало сил ожидать Царствия Божьего, кто считал первоочередной задачей обеспечение материального благополучия\*. Без такого обращения, без мощной «поддержки» языческого начала подобный успех был бы невозможен. Но языческое начало, даже рядящееся в религиозные одежды, в своем развитии несет чудовищно разрушительные для мира и человечества потенции. Выпуская это чудовище на волю, революционеры затем справиться с ним оказались не в состоянии.

Процесс этот — раскрепощение языческого начала — складывается из многих составляющих, но самое главное и самое, пожалуй, страшное — незаконный отказ от абсолютной морали, отступление от христианской морали обратно к языческой\*\*. Тогда заповедь «не убий!» заменяется утверждением, что вот тех-то и тех-то убивать можно и даже нужно, тогда любое присвоение чужого перестает быть грехом, а называется благородной экспроприацией, обман же не считается более дьявольским наущением

---

\* В своих статьях о гражданской войне (1872—76 гг.) в Испании Достоевский отметил и такую закономерность, ставшую очевидной политологам и обществоведам лишь много позднее: коммунизм быстрее и успешнее всего распространяется среди самых обнищавших, лишенных какой бы то ни было экономической самостоятельности частей населения.

\*\* Мне могут сказать: но ведь и христианство делит людей на верующих во Христа («своих») и не верующих в Него (иудеи, магометан, атеистов) — «чужих», да и между собой христиане разделены (православные, католики, монофизиты, протестанты). Но, повторяю еще раз, надеясь быть правильно понятым и впредь: среди называющих себя христианами есть те, кто не ушел еще от языческого миропонимания; образ мыслей и деятельность таких людей нельзя приписывать христианству. Так, в данном случае, если подобное разделение носит отчуждающий, а тем паче — агрессивный характер (что, увы, бывает нередко) — мы имеем дело с рецидивом язычества; для подлинно верующего человека единственным чувством по отношению к неверующему или инако верующему — помимо любви и уважения к нему как к созданию Божьему — является сострадание к пребывающему во тьме и желание помочь ему увидеть свет истины (не путем насилия, естественно).

(ибо «дьявол — отец лжи»), а признается вполне допустимой революционной хитростью.

И в то же время подобная подмена неизбежна, потому что, делая чуждое природе дело — насильственно, через смерть и страдания людей перестраивая жизнь, — революционеры **вынуждены** становиться нарушителями общечеловеческих и природных законов, в том числе законов нравственных — а вместо них сочинять новые, применительно к обстоятельствам. Но это приводит к необратимым последствиям. «Раз отвергнув Христа, — писал Достоевский, — ум человеческий может дойти до удивительных результатов».

Во-первых, даже субъективно честные и искренние революционеры вынуждены идти на нравственные компромиссы (все более и более тяжкие). Уже у декабристов был план: выделить группу людей, которые должны были бы убить царя, а затем, в случае общей победы декабристов, эти убийцы должны были быть принародно казнены — для успокоения народного гнева и чтобы публично отмежеваться от поднявших руки на «царя-батюшку» (причем сами члены группы цареубийц ни о чем не были заранее оповещены). Через сто лет все это аукнулось в екатеринбургском расстреле.

Следующее поколение революционеров, естественно, следовало по тому же пути. Чернышевский признавал, что революционеру ради достижения его целей часто приходится становиться в такие положения, до которых никогда не может допустить себя честный человек, преследующий чисто личные задачи.

По мере разрастания революционной деятельности необходимость в «благородной» лжи все увеличивалась, ибо идеалы все более расходились с целями, а нравственные основы — с применяемыми средствами. Когда же возникли социалистические **государства**, мистификация стала одной из главных, если не главной составляющей их идеологической «надстройки». В итоге наша страна, к примеру (а можно было бы взять бывшие Польшу или Болгарию, нынешнюю Кубу или КНДР), оказалась насквозь пронизанной обманом, начиная от показателей выполнения государственных пятилетних планов и грандиозных строек, тотальной фальсификации собственной истории, невыполняемых и невыполнимых статей Конститу-

ции — до списка на выдачу зарплаты в какой-нибудь заштатной конторе и лозунгов на стене ЖЭКа.

Но это лишь одна сторона дела. Главное все-таки в том, что декларированный «сверху» отказ от абсолютной морали разрушает — по нарастающей — моральные устои в самом народе.

Могут сказать: где это вы видели абсолютную мораль в темных, забитых и жестоких народных массах? Достоевский писал об этом так: «Но пусть, все-таки, пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена».

Вот здесь, в этой своей основе, был подорван в ХХ веке наш народ и многие другие народы — когда миллионы людей убедили в том, что грех ныне называется правдой! Вот это-то представление о незыблемой границе между грехом и правдой и надо было уничтожить в людях: иначе поднять их на кровавую переделку мира было бы нельзя. Делалось это путем чисто языческого разделения на «людей» и «нелюдей»: эксплуататоров, богачей, врагов революции, врагов трудового народа. Уничтожение «нелюдей», естественно, не вменялось в грех; к ним неприменимы никакие нормы морали, потому что они и сами нарушают их, ответом на их безнравственность будет безнравственность наша (тоже, кстати, принцип языческого мироотношения). Нормы морали («революционной морали») действуют только внутри «наших». Но поскольку мораль — совесть то есть — «сами делаем», как говорит, утешая Ивана, черт в «Братьях Карамазовых», — т. е. небольшая кучка вождей-идеологов пересоздает революционную мораль каждый день заново, исходя из потребностей момента, то ограничений практически нет и здесь: просто из «наших» все более или менее несогласные или неугодные быстро переходят в «не наших» и выпадают из поля действия каких-либо моральных законов. А оправдать все это легко: если вы однажды допустили убийство десятерых для счастья сотни, то уже

не сможете возразить против убийства сотни ради десяти тысяч, тысячи — для миллионов. Причем если первоначально — для уничтожения врагов, потом — инакомыслящих, то в конце концов — просто для объединения остальных на основе страха и ненависти. Ибо на подлинно нравственных основах — любви и доверии — объединить такое общество невозможно. «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, — писал Достоевский, — если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?» Только насилем и всеобъединяющей ненавистью, «иначе не удержишь нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то организм народа?» Но и полученная в результате «нравственность» отдельных граждан чревата будущим ужасным моральным распадом уже подавляющего большинства всех членов общества...

Одновременно с разделением людей внутри одного времени, разделением современников, надо было разъединить людей и по вертикали, разрушить их связь между собой в вечности — иначе кто бы согласился наслаждаться будущим счастьем, построенным на крови и страданиях прежде живших на земле и ныне живущих в иных мирах и в наших душах (ибо «у Бога все живы») людей, женщин, детей — пусть даже в какой-то исторический миг и причислявшихся к врагам, «неродным»? А ведь и на страдания «родных» пришлось бы закрыть глаза, успокоиться на сей счет. Нравственная идея, цементирующая общество, писал Достоевский, исходит всегда «из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формировались всегда и везде в религию...». Вот и пришлось заменить религию любви и единения всего со всем на религию ненависти и разъединения; закреплять и санкционировать отказ от абсолютной морали на уровне официальном, государственном, устами авторитетных для народа «учителей нации».

Последствия всего этого были ужасны.

Языческое подсознательное живет в каждом человеке — и в большинстве из нас, к сожалению, достаточно близко к «верхнему» уровню сознания. Обычно человек сдерживает его, это подсознательное, уси-

лиями воли и разума, но если он сумеет сам убедить себя, что можно снять эти ограничители (безвыходные обстоятельства, скажем), или его убедят в этом (указав на врагов и отделив их от нас, «родных»), языческая стихия, выпущенная на волю, может овладеть мгновенно и надолго большими массами людей. Так было в нашей стране в годы гражданской войны и сталинских расправ, так было в годы фашизма в Германии: вдруг как из-под земли появились десятки тысяч добровольных садистов, палачей, насильников, раскулачивателей, лагерных охранников-убийц — еще вчера добропорядочных обывателей, а сегодня будучи направленными на «чужого», «не нашего» («не человека», значит), проявлявших даже по отношению к матерям и детям фантастические изыски изуверства. Достоевский, может быть, первым догадался об этом еще в XIX веке.

«Зло таится в человеке глубже, чем предполагают лекаря социалисты,— предупреждал он в статье «О сдирании кож вообще».— Бог знает, чем чреват еще мир и что может дальше случиться, даже в ближайшем будущем...

По-моему, если уж все говорить, так просто бояться какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти предрассудка; но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу **выйдет даже и для общего дела полезно** и что если оно отвратительно, то все же «цель оправдывает средства»,— если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых... Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них есть, но — явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы. Конечно, не все, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы с вами, читатель, удивились бы, и **даже еще неизвестно, где бы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями?..** Вы смеетесь? Ну а во Франции (чтобы не заглядывать куда поближе) в 93 году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи, да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что все это было вовсе не то и очень давно, но заметьте, что я прибегаю к исто-

рии единственно, может быть, **чтобы не заговорить о текущем**. Поверьте, что самая полная аберрация и в душах, и в сердцах всегда возможна, **а у нас, и именно в наше время, не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей**. Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно».

В этом же выпуске «Дневника писателя» Достоевский пишет, как недавно, глядя на мирно гулявших по Невскому проспекту детей, он подумал: а гарантированы ли они, живущие в самом центре просвещенного и цивилизованного государства, от тех средневековых зверств, которые творили тогда турки на болгарских землях? И пришел к выводу: если и гарантированы, то только пока и «по не зависящим от публики обстоятельствам». Писателю тогда, в 1877 г., мало кто верил. А между тем гулявшим в то время по Невскому детям к началу колымского периода русской истории исполнилось 50—60 лет...

Здесь обязательно нужно учитывать, что процесс формирования и утверждения социалистического мироощущения происходил не как органический этап развития человеческого сознания (как в историческом язычестве), а уже на фоне христианской этики, как сознательный отказ от нее, как **возвращение** от уже достигнутого человечеством несравненно более высокого идеала **назад**. А, как сказано в Евангелии, возврат к старым грехам, после того как человек уже раз отказался от них, узрев Истину, оказывается для того человека «во стократ хуже первого». Так и получилось в истории: **возврат** к язычеству стоил людям таких жертв, по сравнению с которыми эпоха первоначального язычества кажется мирной идиллией.

Расчеты революционных теоретиков на то, что, «перевалив» через полосу разрушений и насилия и провозгласив новые законы жизни, люди начнут тут же прогрессивно меняться в лучшую сторону, оставят все пороки в прошлом и начнут самоотверженно трудиться на благо ближнего, не оправдались и не могли, естественно, оправдаться. Ведь все расчеты и прогнозы относительно будущего, если они и делались, основывались не просто на типе христиански добродетельного человека, но даже с христианской точки зрения — совершенно добродетельного человека, отрешенного от эгоистических интересов и ставя-

щего во главу угла благо ближнего: ведь даже при условии справедливейшего распределения благ весьма значительная часть людей и сможет и захочет иметь больше соседа — особенно, если этот сосед ленив или нетрудоспособен. Что может заставить человека отказаться от «морали» «по праву сильного» и начать делиться со слабым? Только религиозная этика, ориентированная на высшую, нежели земная, материальная, категорию ценностей. Но ведь при построении подобного общества людей насильно отлучали, отторгали от религии! Значит, выход оставался один — насилие. А насилие, раз примененное и **оправданное**, имеет тенденцию только разрастаться.

Невозможно построить то общество, о котором грезили первые, честные теоретики коммунизма, — еще и еще раз подчеркивал Достоевский, — если нет в душах **всех** людей братства друг к другу, любви к ближнему большей, чем к самому себе. Но и силой перестроить внутренний мир людей на этих основаниях — по принципу: «братство или смерть!» — в конечном счете нельзя, ибо насилие рождает только контрнасилие, в «лучшем» случае — рабскую покорность, сжатую пружину, выжидающую, когда ослабнет занесенная над головой рука надсмотрщика с палкой, чтобы, расжавшись, ответить реакцией даже более мощной, чем сила сжатия (пример с советской «дружбой народов» показателен). «И потому, — писал Достоевский, — хотя коммунизм наверно будет и восторжествует, но мигом провалится. Утешения, впрочем, в этом немного.

Для него другое племя надо».

И вполне закономерно, что все революционная идеология в своих конкретных деталях была построена лишь на разъединении и разрушении, на отрицании — не имея никакой объединяющей всех (а не одних **против** других) созидательной программы. «Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтобы настоящее провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма». Достоевский писал «еще» и «пока», но и спустя полвека ситуация не изменилась, и накануне Октябрьской революции она не была иной. Вот что пишет в своем исследовании «Трудная весна 1918 года» Р. А. Медведев:

«Весьма расплывчатыми были и представления Маркса и Энгельса о конкретных путях перехода от капиталистического общества к социалистическому, о задачах, особенностях и продолжительности этого переходного периода. Для каких-либо научных рекомендаций на этот счет исторический опыт еще не давал достаточного материала, а придумывать умозрительные рекомендации было не в правилах Маркса и Энгельса... Поэтому, в отличие от политической экономии капитализма или философской концепции истории, именно в области всякого рода предсказаний в творческом наследии классиков марксизма больше всего сохранилось как раз утопических и ненаучных элементов... утверждения об «отмирании» денег, торговли и товарного производства при социализме не были для Маркса и Энгельса результатом глубоких научных изысканий. Здесь больше действовали эмоциональные факторы и влияние традиционных убеждений и взглядов социалистов-утопистов... немало потрудившись над превращением социализма из утопии в науку, Маркс и Энгельс далеко не во всем смогли довести эту работу до конца. Это особенно хорошо видно по тому, как Маркс и Энгельс относились к категориям «деньги», «торговля», «товар» в условиях социалистического общества. И Ленин в предреволюционные годы просто некритически повторял в этом отношении ряд явно ошибочных формул Маркса и Энгельса. Например, Ленин в 1908 году писал: «Что касается социализма, то известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства... Раз остается обмен, о социализме смешно и говорить» (ПСС, т. 17, с. 127).

Конечно, сегодня видна ошибочность взглядов Маркса и Энгельса, а также многих высказываний Ленина относительно роли денег, товара и торговли как экономических категорий в условиях социализма. Но разработка правильного взгляда на все это давалась нелегко. И сопровождалась не только теоретическими дискуссиями, но и кровавыми событиями...

С 1903 по 1918 год в социал-демократическом движении России происходили различные дискуссии, главным образом по партийному строительству, что и определило раскол партии на большевиков и меньшевиков. Однако устройство будущего социалисти-

ческого общества в этих дискуссиях почти не затрагивалось.

Мировая война ускорила вызревание революционного кризиса в России. Перед социалистами возник ряд новых проблем, в том числе и такая — возможна ли победа социалистической революции в одной, отдельно взятой стране? Ответив на это положительно, Ленин, однако, не пытался рассматривать в деталях, каким образом победивший в отдельно взятой стране пролетариат должен организовывать у себя социалистическое производство. Тем более применительно к России такой вопрос не возникал и не обсуждался до начала 1917 года...

В... предреволюционные недели к своим прежним предложениям Ленин добавил отмену коммерческой тайны, не только контроль, но и национализацию синдикатов, а также государственно-капиталистические мероприятия — принудительное синдицирование промышленников и торговцев, с одной стороны, и **принудительное объединение населения в потребительские общества** — с другой («ибо без такого объединения контроль за потреблением полностью провести нельзя») (ПСС, т. 34, с. 181).

В этом настойчиво повторяемом предложении о принудительном кооперировании всего населения уже был некоторый элемент утопизма, ибо полный контроль за всем потреблением населения был и невозможен и не нужен»\*.

Оставим на совести Р. Медведева мягкость тона, с которым он пишет о «кровавых событиях», да и вообще о «недочетах» большевиков и марксистов. По сути же неисчислимой кровью и каторжным потом оплатили народы «социалистический эксперимент».

Приведу еще отрывок из книги Г. Уэллса, посетившего Россию, как известно, уже в 1920 г. и в целом весьма положительно отнесшегося к тому, что там происходило: «Оказывается, что у марксистского коммунизма нет никаких планов и идей относительно интеллектуальной жизни общества. Марксистский коммунизм всегда являлся теорией подготовки революции, теорией, не только лишенной созидательных, творческих идей, но прямо враждебной им. Каждый

---

\* Медведев Р. Трудная весна 1918 года. Волга, 1989, № 1, с. 161—166.

коммунистический агитатор презирает «утопизм» и относится с пренебрежением к разумному планированию. Даже английские бизнесмены старого типа не верили так слепо, что все само собой «образуется», как эти марксисты... Многие большевики... начинают с ужасом понимать: то, что в действительности произошло, на самом деле — вовсе не обещанная Марксом социальная революция, и речь идет не столько о том, что они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались на борту брошенного корабля».

Убежден: при **нормальном** развитии событий большевики не смогли бы тогда удержаться у власти. Понадобились чудовищные репрессии, чтобы уничтожить не только всех инакомыслящих и сомневающихся, но и просто способных поднять голову и оглядеться, репрессии, с помощью которых были нарушены и извращены не только природные, социальные и экономические законы, но и нормальный образ мышления и поведения людей. Жестокость, лицемерие, раболепие, предательство становились нормой морали...

Задумаемся: случайно ли, что число замученных, искалеченных, репрессированных собственным правительством **во всех** странах победившего социализма несопоставимо ни с чем в истории этих стран (даже фашисты не расправлялись так со **своим** народом)? Не говорит ли это о том, что подобная система противоречит самой **жизни**? Вот и получилось вместо «царства социализма» кровавая и гибельная вакханалия, унесшая в тех странах, что взялись его строить, наверно, около миллиарда жизней и оставившая эти страны в состоянии полной разрухи.

Но тогда, во второй трети XIX века, все еще было довольно благообразно и даже красиво «в теории» — и привлекательно не только для обездоленных масс, но и для тех совестливых представителей обеспеченных слоев, которые, утратив упование на Бога, возвели человека на пьедестал Хозяина и Устроителя земных дел. Рациональный, позитивистский подход к человеку как к машине, действующей хорошо или дурно в зависимости от хороших или плохих обстоятельств, преобладал.

Грозно и до озноба пророчески звучит предупреждение Достоевского о том, что наступление злого ду-

ха не остановить: «Тут и пророка Божия мало, не только графа Шамборского. И пророк убиен будет. Новый дух придет, новое общество *несомненно* восторжествует — как *единственное* несущее новую, *положительную* идею\*», как единственный предназначенный всей Европе исход. В этом не может быть никакого сомнения. Мир спасется уже после посещения его злым духом. Злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его...»

«Всей Европе», писал Достоевский, не включая, по всей видимости, сюда Россию...

## II. Как русский народ стал «наилучшим материалом в Европе» для социалистической пропаганды, или Ошибка Достоевского, обернувшаяся гениальным предвидением

Достоевский надеялся, что торжество материального начала и приход «злого духа» осуществится на Западе, что русский народ устоит перед разрушительным действием этих процессов. Слияние сословий совершается и свершится у нас «мирно», ибо, «если и есть разногласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей» — единство «заложено самой природой в духе русском, в идеале народном». «Русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и цензов». «Все восемьдесят миллионов ее (России. — К. С.) населения представляют собой такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет и не может быть...» «Лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии без боя и без крови, без ненависти и зла...» Достоевский предвидел будущее развитие исторических процессов: произойдет серия кровавых катаклизмов, которая охватит всю Европу («Но никогда,

---

\* Увы, в те времена еще многим — не Достоевскому, конечно, — казалось, что, в отличие от большинства просто «отрицателей» и обличителей капитализма, социалисты предлагают положительную программу: разделить все между всеми и потом распределить все по справедливости. О том, что для этого надо было раньше стать всем братьями, как-то не думалось...

может быть, Европа не была ближе именно к такому перевороту и переделке территории, как в наше время) — затем последует всеобщая схватка между пролетариями и «хозяевами» — волна коммунистических переворотов докатится до России и «разобьется» о нее. «Тогда все рухнет об Россию, тогда мы **должны быть целы** и выставить православие». Русская православная идея всечеловеческого братства спасет гибнущий мир.

Что это — самообман и самообольщение? Почему гениальный Достоевский здесь — кажется нам сегодня — так очевидно ошибся: ведь именно Запад устоял перед теми разрушительными процессами, которые столь ясно предвидел Достоевский, а в России они осуществились во всей своей ужасающей яви?

Ответить на этот вопрос не очень легко. Прежде всего: несерьезно было бы обвинять гениального писателя в психологической и политической близорукости в оценке своего народа. Ведь наряду с вышеприведенными высказываниями он писал и о том, что «может быть, русский народ-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов», что самая полная аберрация умов и сердец «у нас и именно в наше время не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей».

В последнее время широко распространяется и среди отечественных философов и публицистов (а на Западе так уже давно) убеждение в том, что представления Достоевского, Толстого и других русских классиков о каких-то высоких нравственных качествах русского народа, сохранившего в своем сердце христианский идеал и истинный облик Христа, представления о народе-богоносце являются фантазией, выдумкой, доказательством чего служит жесточайшая гражданская война, равно как и многочисленные свидетельства нравственного разложения в народе до нее и нынешнее состояние наших современников.

Действительно, многое из того, о чем мы знаем по отечественной истории XX века, подтверждает скорее выводы М. Горького из его «Заметок о русском крестьянстве»\*, нежели взгляды Достоевского. Но

---

\* «Я думаю, что русскому народу исключительно — так же исключительно, как англичанину чувство юмора — свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения и боли, как бы изучаю-

Горький наблюдал русское крестьянство на тридцать и более лет позже Достоевского, а это были во многом роковые для русского народа годы. В эти-то годы и свершилось главное зло: русский народ лишился своей православной основы. В результате резко усилились, не встречая противодействия, отрицательные стороны народного характера, а многие прежде положительные, лишившись христианского содержания, превратились в отрицательные.

Достоевский писал: «Славянофил думает выехать только свойством русского народа, но без православия не выедешь, никакие свойства ничего не сделают, если мир потеряет веру...» Эти его пророческие слова, кстати, не были услышаны и поняты совсем уж долго, вплоть до самого последнего времени.

Достоевский не отрицал существования зла — даже зверства в русском народе, но он справедливо полагал, что главное — нравственная оценка зверства, четкое различие добра и зла, непризнание зла за добро: «Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится».

И не беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель».

Беда эта случилась.

Отмена крепостничества была резким переворотом и в экономической жизни, и в нравственном мироощущении всего народа. Резкое ускорение экономического развития влекло за собой на первых порах неизбежное ослабление нравственности, размежевание общества, распространение пороков, увеличение люмпенизированных слоев. «Разгул и масляница после крепостного состояния», — писал в 1864 г. Достоевский.

Русский крестьянин подвергся двум разрушительным воздействиям: со стороны жрецов денежного мешка и со стороны революционных «пропагаторов». При всех различиях этих сил воздействие было в общем направлено одинаково: на легализацию зла, на то, чтобы «зло вознести как добродетель».

---

щей ценностью, стойкостью человеческой жизни»; «мне кажется, что революция вполне определенно показала ошибочность убеждения в глубокой религиозности крестьянства в России» (Синтаксис, 1987, № 19, с. 91, 97).

«Уничтожьте у нас общину,— утверждал Достоевский,— и народ тотчас же будет у нас развращен в одно поколение и в одно поколение доставит собой материал для проповеди социализму и коммунизму. Мы легкомысленнейшим образом проповедуем уничтожение общины, одну из самых крепких, самых оригинальных и самых существенных отличий сути народа».

Но в то же время он не мог не видеть, что меняются люди — и старые формы вряд ли спасут.

Анализируя драму Кишенского «Пить до дна — не видать добра», Достоевский с горечью пишет о том, что в результате чрезвычайного экономического и нравственного потрясения после огромной реформы нынешнего царствования «прежний мир, прежний порядок — очень, очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились, тогда как из хороших, нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, ничего не осталось... Мирская сходка — это **все**, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая надежда его,— и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! Вы видите, что уже во многом — это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись, и пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми... Половина этих собравшихся граждан давно уж не верит в силу мирского решения, а стало быть, и в необходимость его; почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно, вопреки правде и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет и вы почувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого хочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой». И вот вывод: раньше «делали подлое, но знали, что делают подлое, а что есть хорошее; теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его».

По существу, и революционная агитация, направленная на насильственное перераспределение богатств, тоже разрушала традиционную мораль, подрывая веру в Бога и приравнивая насилие к добродетели. Культ «денежного мешка» и революционная мораль, будучи однопородными, имеют много общего: они основаны на насилии и разъединении людей, оправдывают насилие и разъединение как нечто неизбежное, нацелены, в конечном итоге, на личное материальное благосостояние, подразумевают установление братства, свободы и равенства для всех лишь **после** того, как первоочередные — материальные — цели, по мнению «верхов», будут достигнуты, а до тех пор все блага распределяются волюнтаристским путем: по воле тех, на чьей стороне сила. «Логику» и тех и других теорий Достоевский определил так: «Все вы станете богаты, а **через богатство и праведны**, потому что ваши желанья будут исполнены и у вас будет отнята всякая причина ко злу».

«Ротшильдовская» идея, редуцированная «мораль» накопительства внедрялись в сознание и души людей всеми жизненными обстоятельствами. Революционная идея, революционная «мораль» — вроде бы только самими «пропагаторами». Более того, принято считать, что они и до народа-то «не дошли» — в том смысле, что пропаганда их почти не затронула народные массы. Так ли это? Формально, если брать лишь непосредственные итоги «хождения в народ» — вроде бы да; но ведь в слове заключена великая сила (могущая быть направлена и на добро, и на зло): раз произнесенное, оно уже начинает свою работу. Достаточно, чтоб та или иная мысль была высказана, запала в сознание хоть одного слушателя, — а дальше уже меняется сама духовная атмосфера. «...Ведь эти мысли идут в нравственность народную», — писал Достоевский, упрекая отрицавшего нормы морали адвоката — казалось бы, более далекого от народных масс, чем пропагандисты-народники. Кроме того, сословные перегородки в русском пореформенном обществе быстро рушились и между «верхними» слоями общества, где идеи насильственного передела жизни становились все авторитетнее, и «нижними» не было уже непроницаемой стены. Тем более что, как было сказано, распространению подобных идей чрезвычайно способствовало упрочение

буржуазных, рыночных отношений, выдвигавших во главу угла материальное благосостояние человека, без особых забот о том (особенно в России, в пору молодого «бандитского» капитализма), каким путем оно достигнуто.

К тому же к концу жизни Достоевского прежних благородных и высокоодаренных молодых людей в революционном движении все больше заменяли недоучившиеся гимназисты и семинаристы (семинаристам-«пропагаторам», порвавшим с семейными традициями, с религией и культурой предков (к ним, напомним, принадлежал и Сталин), Достоевский посвятил много язвительных записей в своих рабочих тетрадях). Вот каковы были эти пропагандисты: «Выгонят его из 4-го класса гимназии и — куда ему деться? Прямо идет в народ и действует успешно — не прежними утопиями и социальными нелепостями, которые народу были непонятны и смешны, а прямым призывом к бунту: «не надо, дескать, платить подати», — и кончено. **Это народ понимает**».

Перед такими двумя внешне разноприродными, а по сути однонаправленными пагубными воздействиями народ остался практически в одиночестве, не имея почти никакой духовной защиты и помощи ни со стороны духовенства, ни со стороны интеллигенции. «В весьма непродолжительном времени, — предупреждал Достоевский, — в народе явятся новые вопросы, да и явились уже, куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных, и все это естественно. Но кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них и **кто первый выищется**, кто ждет и готовится? Вот вопрос, наш вопрос, да еще самой первой важности вопрос».

Церковь во второй половине XIX века находилась, по горькому определению Достоевского, «в параличе», во многом потеряв контакт с народом. «Духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому, что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отделяют

от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним и не придет никто спрашивать». А в личных записях даже жестче писал Достоевский: «Когда с попов сословность слезет, тогда уничтожатся и секты, и атеизм, ибо **контингент атеистов все-таки** дает духовенство». Здесь, по-видимому, имелось в виду и отрицательное влияние ряда священников, чья нерадивость в исполнении своего долга способствовала «уклонениям» сограждан, и то прямое пополнение «контингента атеистов», которое шло из числа семинаристов.

Помощи со стороны той интеллигенции, которая могла бы помочь народу укрепить традиционные нравственные устои, тоже почти не было — подробнее разговор об этом пойдет в конце главы. В результате народ в один из самых кризисных моментов его развития «остался один — ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит. И рад бы увидеть, да трудно ему разглядеть»... А ведь «народ наш так мало защищен, так предан мраку и разврату и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям со страстью... и тогда — какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое **идольское** поклонение материализму и какой раздор, в сто, в тысячу раз больше прежнего...»

Но было бы неправомерно — и Достоевский, заметим, этого не делает — винить во всем лишь внешние обстоятельства, не видя корней зла в самом народе. Да, он верил, что «суть христианства, дух и правда его сохранились в народе нашем». Но одновременно он понимал и то, что народ «предан мраку и разврату».

Да, Достоевский верил, что «народ найдет в себе силы, найдет все начала охраняющие... Не захочет он сам кабака, захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!» Но что ни говорите, а по манере это высказывание больше похоже на заклинание, чем на трезвое рассуждение... То же и далее: «Если у нас что особенно здорово и цело, то это именно основание, т. е. народ»; «идеалы нашего народа сильны и святы»; «в народе нашем вполне сохранилась та твердая сердцевина, которая спасет его от излишеств и уклонений нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу на-

рода русского...»; «...Все наши русские разъединения и обособления, с самого их начала, на одних лишь недоумениях, и даже самых грубейших, основаны и... в них нет ничего существенного». И наконец: «До какой степени такое учение (социалистическое.— К. С.) разнится с душой народа русского».

Свидетельствует ли все это о некоей близорукости великого писателя?

Нет, безусловно нет, ибо, во-первых, нравственное основание русского народа в те годы было действительно довольно прочно и крепко — все те идеи, о которых шла речь выше, еще только начинали внедряться в его сознание, во-вторых, Достоевский прекрасно видел и другое, то, что могло послужить — и послужило — первопричиной трагедии. И хотя, утверждал он, волны революции разобьются о берег России, — он видел, что именно размывает и раскалывает этот берег, какие в нем есть пустоты, дающие основания опасаться. Вот, казалось бы, неожиданное для Достоевского и поразительно провидческое: «А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть **наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?**» Что приводило его к этой догадке?

В иные «злые минуты» виделись ему и довольно смутные картины будущего: представлялась иногда Россия какой-то трясинной, болотной, на котором кто-то построил дворец: «...ступите, и так и скользнете вниз, в **самую бездну**». Что же внушало Достоевскому такое отчаяние?

На основании анализа «Дневника писателя» можно сделать вывод, который, конечно, не встретишь в подобной формулировке, но который подтверждается всеми рассуждениями писателя: чрезвычайно недостаточная религиозная просвещенность народа, восприятие им религии лишь сердцем, но не разумом — и воспитанная в результате тяжелейших исторических обстоятельств склонность невысоко оценивать человеческую жизнь (и тем более — все материальные условия человеческого существования), оторванность от культурных корней, вековая привычка к жестокому насилию и жестокости как норме. «Нравственность народа ужасна, — откровенно констатировал уже

в 1864 г. в записных тетрадях Достоевский.— Вот плоды крепостного состояния. *Нигилисты в народе*. Солдат, не верующий в Бога, кормилица. Наука нужна. Нужно что-нибудь, чтобы он сам решил любить и уважать, а не то, что ему навязано». Иными словами, просвещение народа должно быть направлено на то, чтобы вера в Бога, представление об окружающем мире и о его Создателе было принято ясным сердцем и просвещенным умом, а не вдолблено извне, насильно, не заботясь о том, понята ли суть обрядов и молитв, норм и правил поведения, всего образа жизни. От народа же требовали в основном лишь покорного исполнения. А это закономерно рождало противодействие.

В частном случае — неожиданно в быстром распространении среди населения одной из русских губерний учения штундистов (и соответственно отказе от православия), распространении, вызванном убеждением крестьян в том, что в «штунде» и есть народная правда, ибо это учение освобождает от соблюдения постов, насильственных и непонятных для крестьян, и так скудно питающихся в течение года\*, — в частном этом случае Достоевский увидел грозное предзнаменование: «Ну что, если нечто подобное развернется уже по всей Руси... Что возжаждет он (народ.— К. С.) правды — в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь...»

В 1876 году Достоевский писал: «Что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой поживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятирилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование».

Что же это за учение или верование? Можно ли говорить о широком распространении в массах русского народа в те годы экономических идей, марк-

---

\* В отношении, скажем, летнего Петрова поста вологодские крестьяне считали, что его «выдумали попы вместе с бабами» (см.: Максимов С. Литературные путешествия. М., Современник, 1986, с. 345).

сизма или социалистических учений? Нет, наверное. Не берусь сейчас дать однозначное определение этому «верованию», но, думаю, немалую составную его часть определило то, что я бы назвал возвратом к язычеству.

В статье «Две половинки» («Дневник писателя» за 1880 год) Достоевский писал: «В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят».

Эта точная формулировка помогает понять многое из происходившего не только в роковой период последней трети XIX — первой трети XX веков, но и в других ключевых узлах русской истории.

Здесь не место подробно разбирать эту проблему, рискну поэтому высказать ряд предположений без особых доказательств. В науке принято считать, что быстрое, первоначально вводимое по распоряжению «сверху» принятие христианства — сразу как государственной религии, особенности исторической жизни, психологии и быта жителей Византии (откуда пришло на Русь христианство), а главное — восточно-славянских народов, — привели к тому, что язычество оказалось не **изжито** естественным путем, а осталось как бы в подпочве христианского миропонимания на Руси и подспудно проявлялось во многих церковных празднествах, обрядах и суевериях вплоть до XIX века. Не отрицая этого, рискну выдвинуть еще одну причину.

Православие выделяется из всех христианских конфессий, пожалуй, именно тем, что налагает на человека очень большую личную ответственность, ибо предполагает максимально свободную ориентацию личности в мире и возможность как внезапного падения, так и мгновенного просветления; православие, далее, в наименьшей мере приспособливается к практическому быту человека, а потому истинно православное существование требует постоянного и огромного духовного напряжения, что под силу далеко не всем. Потому на Руси просияли столь великие святые — и потому же у многих христианская защита оказалась достаточно тонкой.

Русский народ всем сердцем принял Христа — и сохранил Его в своей душе. Это понял и об этом писал Достоевский. Но в то же время он видел, что многое в религии воспринято народом всего лишь на уровне обряда.

Чрезвычайно важной в публицистическом наследии Достоевского представляется мне статья «Штунда и редстокисты». Говоря о быстром распространении среди простого русского люда учения штундистов (в основе своей — лютеранского) и о том, что одной из главных «приманок» для народа в этом учении является отказ от постов, Достоевский пишет: «А откуда бедный человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд. Против обряда и протестовал»\*. Но одна лишь обрядовая сторона религии, без постижения сути обрядов, не способна одолеть языческое мироощущение, напротив, оно в подобном случае — при внешнем соблюдении обрядов — только усиливается. Когда — в силу многих причин, главные из которых были упомянуты выше: ослабление связи церкви с основной массой народа, бурное развитие буржуазных отношений и усиление индивидуализма, активное воздействие революционной пропаганды (понимаемой как оправдание насилия во имя личной выгоды) — когда в силу этих и ряда других причин христианская вера стала в народе ослабевать, вновь вышло на поверхность, воздвиглось и упорочилось старое языческое миропонимание\*\*. Досто-

---

\* «Вместе с своеобразной историей государства своеобразна и история нашей церкви», — пишет Е. Голубинский, отмечая в русском народе «исключительную приверженность к церковно-обрядной внешности» (Голубинский Е. История русской церкви, т. 1. Изд. 2-е, испр. и доп., М., 1901, с. 720). Но тут надо не забывать о том, что, без сомнения, учитывали и писатель, и историк: говорят они не о главном, определяющем качестве русской духовности и бытования православия на русской почве (иначе православие давно и бесследно исчезло бы — и не возрождалось бы столь успешно ныне). Речь шла лишь о достаточно существенном недостатке, присущем многим верующим, и в то же время искупаемым глубокой и подлинной верой — зачастую их же самих либо их соотечественников; в целом же на русской почве семена православия дали поистине великие плоды.

\*\* Может быть, в этот период Россия проходила ту стадию духовного и исторического развития — регенерации язычества, — которую в западных странах мы знаем под названием Возрож-

евский ясно видел это; православие, писал он, это «добытое веками драгоценное достояние, которое надо бы разъяснить... темному народу в его великом истинном смысле, а не бросить в землю, как ненужную старую ветошь прежних веков,— в сущности, пропало для нас окончательно. Развитие, свет, прогресс отдаляются от него (народа.— К. С.) на много лет назад, ибо наступит теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольниковства, а вместо ожидаемых «разумных» новых идей воздвигнутся лишь старые, древнейшие, всем известные и поганейшие идолы, и попробуйте-ка их теперь сокрушить!»\*.

Прогноз оказался, к сожалению, точен.

Но как же все-таки происходил отход от православия к язычеству, и в чем это выразилось?

Достоевский высоко ценил духовные качества русского народа; но он достаточно трезво видел, что народ «предан мраку и разврату; что в нем чрезвычайно развита потребность броситься в бездну, как ошалелому, вниз головой... потребность ощущения в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговееющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем».

Но не надо думать, что люди отказывались от самой главной своей святыни — православия, — будучи лишь соблазнены возникшей перед ними — в реальности бурного буржуазного развития и в пропаганде революционного «черного передела» — перспективой мгновенного обогащения. Нет, в России все было сложнее. Приоритет духовного над материальным остался, но без православной основы это зачастую оборачивалось во зло.

---

дения (отход от веры, нарастающий приоритет материальных потребностей и удовольствий, усиление индивидуализма — все это сопровождается расцветом искусств)? И как логический результат возрожденческих процессов — цепь революции? Слишком серьезный вопрос, требующий глубоких исследований, поэтому выдвигаю лишь как гипотезу.

\* «...Волхвы появлялись у нас в XI в. во время общественных бедствий, когда в толпе с особой силой оживают старые верования и предрассудки», — писал К. М. Гальковский (указ. соч., с. 134).

Поэтому, рассматривая те черты русского народного характера, которые Достоевский отмечал как положительные, надо помнить о том, что в ближайшем историческом будущем, лишившись своего христианского содержания,— когда люди, по существу, были возвращены на языческий уровень,— эти же качества стали отрицательными, разрушительными и саморазрушительными и активно использовались властями предержажими.

Это, в первую очередь, «жажда жертв и подвигов». «...Самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем... Этой жаждою страдания он, кажется заражен испокон веков. Страданием своим русский народ как бы наслаждается». Между религиозной жаждой очистительного, искупающего страдания и жаждой страдания для некоего эгоистического самоудовлетворения или безвольным приятием страдания от недостатка самоуважения или от презрения к себе — пропасть та же, что между верой и неверием. Пока живо было религиозное чувство в русском народе (пусть даже у формально неверующих людей), доминировало именно это, первое приятие страдания, потом оно стало вытесняться двумя последними, безрелигиозными (мастерски запечатленными в литературе Шукшиным).

«В народе (русском.— К. С.) бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и уберечь **от неверных** все православие... Эта мысль во всем народе нашем уже почти **сознательная**, а не то что таится лишь в чувстве народном». Как потом обернулось это противостояние «неверным» — неверным по отношению к марксизму-ленинизму-сталинизму,— уже сказано многими, начиная от Н. Бердяева и до М. Капустина, повторяться нет нужды. Скажу лишь, что главным образом на этой основе мог столь долго властвовать и осуществлять свои адские «преобразования» — от коллективизации до ГУЛАГа — Сталин, а потом и все другие наши «лидеры».

«Наш народ всегда хочет быть *одушевлен высшей мыслью*», — писал Достоевский. Как много в последующих исторических событиях объясняет эта фра-

за! Сколько жертв принес народ **добровольно** во имя торжества коммунистического идеала, ставшего на время такой «высшей мыслью!»

«...Во всех своих преданиях и сказаниях он (народ.— К. С.) сохраняет веру, что слабый и приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпевший будет вознесен превыше знатных и сильных, когда раздастся суд и веление Божие»,— писал Достоевский. Потом, в революции, это сказалось так. Из дневника Вл. Короленко, запись от 23/III—5/IV 1918 г.: «...чем больше вдумываюсь в происходящее, тем больше утверждаюсь в мысли, что большевизм такая болезнь, которую приходится пережить органически,— никакие лекарства, а тем более хирургические операции помочь тут не могут. Лозунг для масс очень заманчивый. До сих пор вы были в угнетении, теперь будете господами. И они хотят быть господами. Толкуй тут, что свободный строй требует, чтобы не было господ и подчиненных. Это сложно, а этот лозунг простой и кажется справедливым: повеличались одни. Теперь будет. Пусть повеличатся другие. Была эксплуатация, теперь будет «господство пролетариата». И массы верят, что это господство легко осуществимо...»

Отмечал Достоевский и такое качество в русском народе, которое он расценивал как положительное, но которое потом было блестяще разгадано и использовано Сталиным,—уже с сугубо отрицательным, дьявольским содержанием: «Отношение народа русского к царю особое... вековое, всегдашнее и никогда, по крайней мере, еще долго, очень долго не изменится».

Жалость русского народа ко всем гонимым принесла очень много выгод большевикам, начиная от завоевания ими утерянных после июльского путча 1917 г. симпатий уже к осени того же года, после того как они подверглись «гонениям» со стороны Временного правительства — и до наших дней: «А Россия жалеет и те<х>, которые грабили народ и расстреливали его, когда он волновался...»

Сильно и многими веками развито в русском человеке и апокалипсическое мышление: убежденность в том, что Царствие Божие может наступить в один миг, в один миг утвердиться и в мире, и в человеке. «В один бы день, в один бы час — все бы сразу

устроилось!»— если бы люди узнали истину, убежден Смешной человек.

Пока речь идет именно о наступлении Царствия Божьего на земле, сроков которого человек знать не может и которое может действительно наступить в любой миг, в подобной вере нет, естественно, никакого зла. Беда, если вера уходит, а апокалипсическое мышление остается. «Труда и сознания, что лишь трудом «спасен будешь»,— нет даже вовсе,— с горечью писал Достоевский, словно бы предвидя будущие «установления» то коммунизма, то развитого социализма, то всеобщей трезвости с помощью декретов.— Чувства долга нет, да и откуда ему завестись: культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой». Тогда вера в мгновенные социальные, материальные перемены может реализоваться лишь с помощью насилия, и чем перемены мгновенней, тем насилие (и до, и во время, и после) должно быть круче. При этом необходимо учитывать и такую из глубины веков идущую особенность русского духовного мироотношения: «Лучший человек, по представлению народному,— пишет Достоевский,— это тот, который не преклоняется перед материальным соблазном, тот, который неуклонно ищет работы на дело Божье, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая и дом, и семью, и жертвуя жизнью». Ну а поскольку при таком понимании все на свете не стоит «слова истины», то за него не жаль и дома, и семьи, да и самой жизни — худо, когда лишь только своей, но чаще всего — тут уж хуже некуда — и чужой, при той невысокой цене человеческой жизни, которую века тяжелейшей истории русской установили в сознании людей...\*

И, наконец, последняя и самая, на мой взгляд, главная причина того кризиса в народном сознании, который произошел в конце XIX — начале XX веков.

Вернемся к уже упомянутой статье о штунде. Подчеркнув, что отошедшие от православия и при-

---

\* Из разговора Горького с одним бойцом гражданской войны: «Внутренняя война — это ничего! А вот против чужих — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню — чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок» (Заметки о русском крестьянстве. Синтаксис, 1987, № 19, с. 93).

шедшие к немецкому пастору люди не против православия, собственно говоря, протестовали, а лишь против обряда, в котором, может быть, и заключалось для них все неприемлемое в церковной жизни, Достоевский далее задается вопросом: «Но почему он (народ.— К. С.) так вдруг схватился протестовать? Где причина, его подвигнувшая?»

Причина, может быть, очень общая — та, что **воссиял ему свет новой жизни с 19 февраля** (то есть после отмены крепостного права.— К. С.). Он мог споткнуться и упасть с первых шагов на новом пути, но очнуться надо было непременно, а очнувшись, он вдруг увидел, как он «жалок, и беден, и слеп, и нищ, и наг». Главное — **правды захотелось**, правды во что бы то ни стало, **даже жертвуя всем, что было до сих пор ему свято.**

Ну, что если нечто подобное развернется уже по всей Руси? Если весь народ вдруг скажет себе, **дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, хочу правды и страха Божьего, а главное — правды, правды прежде всего».**

Что возжаждет он правды — в том, конечно, явление отрадное. А между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у штундистов».

Так, увы, и произошло, и подводя ныне итоги всего происшедшего, с горечью констатируя, что вышла-таки «чрезвычайная ложь», снова и снова спрашиваем себя — как же это могло произойти? Почему же все-таки Россия оказалась первой страной, по своей воле взявшейся осуществлять коммунистический эксперимент \*, и единственной страной, осуществлявшей его более семидесяти лет, несмотря на очевидную гибельность этого пути, смерть и страдания миллионов соотечественников?

Почему и сейчас за него держатся изо всех сил достаточно большие массы так называемых «простых людей»? Можно ли считать, как утверждает Г. Померанц, что «у России не оказалось иммунитета к утопии. И это не следствие нынешнего давле-

---

\* Восстание в Париже в 1871 г. все же не распространилось на всю страну, во-первых; во-вторых, вряд ли оно было сознательно направлено именно на реализацию коммунистической утопии.

ния. Это коренное, медленно, веками складывавшееся свойство?»\* Какие только объяснения не предлагались нам в последнее время, в ком только не видели злодеев, сбивших народ на эту ложную дорожку — но почти всегда это была сравнительно небольшая группа людей, чуждая народу и извне управляющая его ядовитыми идеями, по собственному зловещему плану. Достоевский учит нас вникать в исторические процессы глубже.

Русский народ нуждается в срочном духовном оздоровлении, — утверждал Достоевский, — ибо он «духовно болен... не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока». «С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово, стали закипать новые чувства, стало глубоко верить в новый порядок.

И никогда, быть может, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более незащищен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней... Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей «в народ», то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже подойти к народу. А то, при самой малой умелости, и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь народ. Сказано: «Будут времена, скажут вам: се, здесь Христос, или там, не верьте». Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху».

Разберем эту последнюю фразу подробнее.

Итак, в народе после великого потрясения — реформы — возникла жажда «какой-то новой... но уже полной» правды — то есть, как и в Западной Европе полстолетия или столетием ранее, наступила усталость от долгого ожидания чуда — мгновенного устройства земного благополучия Божьей рукой, устра-

---

\* Померанц Г. Мнимые загадки. Новый мир, 1990, № 4, с. 269.

нения смерти, мук и несправедливости; появилась надежда как-то устроить все это самим, собственными силами, достичь Христовой правды вне заветов Христа и путей, указанных Им («Скажут вам: се, здесь Христос или там, не верьте»). И хотя в России эта усталость и эта надежда не утвердились столь широко и повсеместно, как на Западе, хотя уравнивались они — до поры до времени — подлинной, высокой и стойкой верой, еще очень долго хранимой в самой гуще народных масс, но все же **новые** настроения распространялись достаточно быстро. Что же происходило с ними на русской почве?

Я далеко не во всем согласен с Бердяевым в его характеристиках русского народа, но в прозорливости ему отказать нельзя: те черты народного характера, которые находятся на грани между положительным и отрицательным и в перспективе чреваты ужасными трагедиями, он видел хорошо и характеризовал точно. Я имею в виду, главным образом, такие качества, как догматизм, максимализм, веру в особые пути России, искание социальной правды и Царства Божьего на земле. Пока эти качества одухотворялись, скреплялись и направлялись православной верой, они были благовторны для народа (не считая уклонения в ересь или религиозный фанатизм, конечно). Но как только эта стержневая опора ослабла и стала исчезать, когда возникла иллюзия, что социальную правду можно найти не путем духовного преобразования мира, не силой духа, а материальным насилием — вся разрушительная сила **опустевшей религиозности** (а это, видимо, самая страшная сила в мире), помноженная на упомянутые качества народного характера, образовала опаснейшую смесь и привела народ в крайне уязвимое для сил зла состояние.

Достоевский предвидел это (хотя и страстно не желал верить в такой исход), потому и писал он, что «народ наш... по своим, положим, славянским наклонностям... именно... и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов...» и что никогда, может быть, народ русский «не был более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, чем теперь».

Отголосок такого скрываемого даже от самого себя опасения очевиден, мне кажется, и в таком рассуждении Достоевского о русском народе: «Народ

русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не понимает эту идею отчетливо и научно. В сущности, в народе нашем, кроме этой «идеи», и нет никакой, и все из нее одной и исходит... Он непременно хочет, чтобы все, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило...\*

Я не про здания церковные теперь говорю и про причты, а про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным) — цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная

---

\* Заслуживает внимания в этой связи такое утверждение А. Свияжского: «...Если католичество живет и дышит под знаком Отца, если протестантизм отдает предпочтение Сыну, то православию вольно или невольно ставит акцент на третьем сочлене Троицы — на Св. Духе. Образ Пресвятой Троицы (недействительный без третьего Лица) приобрел у нас особый авторитет, как и праздник Троицы, приуроченный ко дню сошествия Св. Духа.

...Наша русская чувственность в отношении к чуду, иконам, мощам, обрядам питается осязательным, вплоть до магических импульсов принятием Духа Святого, Господа животворящего. Его разлитие в мире, приуроченное иной раз к часу праздника-таинства (Крещения, Пасхи Христовой), вовлекает всю тварь и плоть земную в круг духовных стяжаний. «Языческие» и пантеистические смещения в русском христианском сознании в основе своей православны: Дух мы склонны воспринимать столь же реально, как плоть.

Религия Св. Духа как-то отвечает нашим национальным физиологическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и володейте нами), нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное (зачем? кому это нужно? надолго ли? надоело! сойдет и так!). В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями, и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному» (Абрам Терц. Голос из хора. Лондон, изд-во Стенвалла, 1974 г., с. 637). В этом рассуждении, вероятно, многое верно; вызывает возражение только объединение абсолютно разнородных явлений: влияние Св. Духа, которое может быть только благотворным, и примат духовного начала вообще над материальным (отошедшее от Св. Духа духовное начало может быть только безблагодатным, т. е. несущим зло).

на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созиждилась еще Церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанной жажды ее, иной раз даже почти бессознательный, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов **всесветным единением во имя Христово**. Вот наш русский социализм!»

В свете нашего нынешнего опыта не кажется уже, увы, **странным** словом «социализм» в этом рассуждении Достоевского; равно как и то, почему не противоречит всему происшедшему с нами утверждение Достоевского: «Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей православия в полноте». Чаемого Достоевским русского социализма не получилось, а вышел-таки тот социализм, которого опасался он.

Возможность подобного уклонения, которого так боялся Достоевский — и которое произошло, увы, — заключалось в том, что в условиях нарастающего торжества материального начала идея православия, о которой писал он, стала подменяться идеей справедливого распределения материальных благ, земной, материальной справедливости, единения именно в борьбе за это — жертвы всем именно ради этого. Потому и предвидел Достоевский успех «нигилистической пропаганды», которая собьет с толку народ, ложно указывая ему: «се, здесь Христос». Думаю, не ошибусь, если скажу, что большевиками — во всяком случае, начиная со Сталина, — была учтена эта коренная особенность русского национального сознания — потребность веры, — и вера в коммунистические идеалы и вождей сознательно насаждалась взамен христианской веры. У Достоевского есть такая знаменательная запись: «Атеист понял наконец, что православное дело не есть лишь целая церковность (как непременно поняла бы Европа: le fanatisme religieux), а есть весь прогресс человеческий, и все очеловечивание человеческое, так именно пони-

маемые русским народом, ведущим все от Христа и воплощающим все будущее во Христе и в идее Его, и не могущим представить себя без Христа — тогда как в Европе это давно раздвоилось».

Очень важную роль в приближении катастрофы сыграл и земельный вопрос. Достоевский в целом считал отмену крепостничества событием эпохальным не только в истории России, но и в мировой истории, ибо русские крепостные были освобождены не в результате кровавых бунтов, как в Европе, а мирно, и освобождены с землей. Но Достоевский понимал и то, что реформа оказалась «недоделанной, и в результате все большее число крестьян (учитывая нарастающий, с развитием буржуазных отношений, процесс скупки земли) остается без своих наделов, без собственности. Этому обстоятельству Достоевский придавал очень большое значение.

Вот его рассуждения по этому поводу из записных книжек 1870-х гг.:

«Нравственность, устой в обществе, спокойствие и возмужалость земли и порядок в государстве (промышленность и всякое экономическое благосостояние тоже) зависят от степени и успехов землевладения. Если землевладение и хозяйство слабо, раскидисто, беспорядочно, — то нет ни государства, ни гражданственности, ни нравственности, ни любви в Боге. По мере того как землевладение и хозяйство крепчают, устанавливается и все остальное. (ДВ. У нас при перемене всех прочих прежних законов землевладения начался хаос.) Там же, где землевладение уже скрепчалось, но уже привлекается народонаселение и являются уже люди без земли, и пролетарии, там зарождается промышленность (а с ней крепчает такая вещь, как, например, образование, а от образования крепчает и все). Если же уж очень превысит народонаселение земли, то являются революции. Но это только доказывает, что все должны иметь право на землю и что чуть лишь это право нарушено, является сотрясение и распадение общества. У нас, русских, это понял декабрист Якушкин — искреннейший человек.

Промышленность и капитал действуют развратно; отторгнувшись от земли, стало быть, от родины и от своих, надо, чтоб каждый работник имел землю. Ерго: не в земле ли уж все дело». Затем,

спустя определенное время, он вновь возвращается к этим мыслям: «Всякий должен иметь право на землю. У нас это народное начало. Декабрист Якушкин... собственность — святейшая вещь: личность. Но до известного предела... Безграничную собственность можно сравнить с баронством. У них (т. е. на Западе.— К. С.) пролетарии. Но эта безграничность не правильна. Собственность должна быть ограничена. Но у нас и на Западе! Полное уничтожение собственности ужасно».

Без собственности человек бессилен, необеспечен, зависим и оставлен только на свою духовность, то есть на весьма ненадежную пока еще для большинства опору, поддающуюся злым воздействиям извне («отнимем у богатых и разделим»), и потому впадает в рабство злу («всякий-то хочет отомстить кому-то за свое ничтожество») или тоталитарной власти, а порой одновременно.

Маркс и Энгельс не ошибались, утверждая, что главной движимой силой грядущей революции должен стать пролетарий — человек, которому нечего терять. Но для того, чтобы эта революция все же совершилась, нужен был пролетарий именно в российских условиях того времени. Поэтому проследим за рассуждениями писателя дальше. Вот что отмечал он в последний год жизни — спустя двадцать лет после реформы: «У нас прежнее земледелие разрушено освобождением. Закона о рабочих и даже об обозначении владений нет. Крестьянин срамит и позорит почву, убивает скот некормлением, пьянством, и не может (не видно, по крайней мере, в будущем), чтоб он возвысился над *minimum*'ом, который дает ему земля. С другой стороны, отдельное землевладение// стоит отдельным элементом — опричником от народа, от земли. Манифесты по церквам. «Стало быть, будет». Неразрешимый вопрос. Захочет ли увериться народ, что не вся земля его и что опричники не должны быть? А если будет по его — сделает ли он и в силах ли что сделать для возвышения минимума? (Сведенная роща, 5 коп. за бревно.) **Неразрешимые задачи, стоящие грозой в будущем».**

«...Я именно знаю случай,— с горечью писал Достоевский,— покупали крестьяне у соседнего помещика землю и сошлись было в цене, а после этого чтения (в церкви читали о том, что не будет новых пе-

ределов земли, а крестьяне решили, что, значит, как раз будет.— К. С.) отступились: «И без денег возьмем». Посмеиваются и ждут».

На миг ясно встала перед взором писателя картина будущих кровавых столкновений и пожарищ, которым уже вскоре предстоит запылать на Руси,— и хочется поскорей закрыться от этого видения: «...Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравственном беспокойстве народа. И вот что главное: народ у нас один, т. е. в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает».

Почему же так писал Достоевский? Что происходило в среде тех, кто должен был быть духовными вождями народа в миру — в среде интеллигенции?

Самое главное из происходившего здесь — и самое губительное для будущей истории страны — отход основной массы интеллигенции от Церкви. «Беспокойные из них (интеллигентов.— К. С.) стали атеистами, вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали одно лишь презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Но они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ,— каким должен был быть, по их понятиям, русский народ».

Сравнивая распространение штунды в народе и распространение учения секты редстокистов «в самом изящном обществе нашем», Достоевский приходит к выводу, что оба эти явления «вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии».

«В церкви, по-западному, многие стали видеть лишь мертвенный формализм, особность, обрядность, а с конца прошлого века так даже предрассудок и ханжество: о духе, об идее, о живой силе было забыто\*. Явились идеи экономические...» Потом, после

---

\* Один из виднейших советских литературоведов А. Панченко вкратце так объясняет это: после того как Петр I «упразднил патриаршество, учредил синод, сам себя назначил главою церкви (вплоть до начала нашего столетия члены синода приносили присягу государю, «Крайнему Судии Духовной коллегии») и узаконил особым указом нарушение тайны исповеди (предписывалось доносить о злоумышлении на особу монарха и вообще о вольномыслии)», Церковь оказалась «унижена, духовная власть у нее была отнята, общество, то есть «верха», пере-

увлечения идеями экономическими, пошли политические, спиритические\*, символические, футуристические. К церкви стали возвращаться тогда, когда уже поздно было что-либо поправить...

Народ «жаждет учителей», жаждет ответов на свои духовные и социальные запросы,— предупреждал Достоевский. Учителей было много, но слишком мало тех, кто ставил своей целью религиозное просвещение народа, кто старался не просто сохранить незамутненным образ Христа в народном сознании, сохранить интуитивную народную нравственность, но и способствовал бы упрочению этих интуитивных прозрений, укреплению их авторитетом разума и культуры. Куда как больше среди учителей было тех, кто сотворил в своем сознании первоначально из народа идола, всегда и во всем правого, внушал людям, что они имеют право на все для достижения своего блага, а благо это — материальный достаток (а уж потом все остальное). Намеренно даю здесь достаточно широкую формулировку, под которую подходят все учи-

стали ей доверять. В XVIII веке, в эпоху «разума», дворянство отшатнулось от Церкви, шло в вольтерьянство, в масонство, куда угодно, только не в православный храм... Церковь в петербургский период русской истории пребывает в состоянии кризиса. Конформистская приспособляемость сочетается в ней с каким-то надрывом, ибо от унижения до бунта рукой подать. Не зря же из поповичей вышло столько нигилистов и революционеров... Интеллигенция (конечно, лишь часть ее) тоже хотела «поладить» с Церковью. Это и поездки в Оптину Пустынь, к «старцам», и религиозно-философские собрания 1901—1903 годов, когда произошла очная встреча культуры и веры. Но было уже поздно...» (ЛГ, № 12 от 12/III.1990 г., с. 3).

\* Только начинавшему тогда развиваться в русском обществе спиритизму Достоевский сразу уделил большое внимание, справедливо угадав в нем одну из грозных опасностей для человеческого духа. Это абсолютно языческое верование, прикрашенное флером «мистичности», привлекательным для религиозно неразвитых людей, опасно тем, что сбивает с пути истинного многих жаждущих «хлеба духовного». «Мне как-то выяснилось тогда, именно через опыт, именно через этот сеанс,— пишет, побывав на одном спиритическом «радении», Достоевский с глубокой серьезностью, даже как будто не соответствующей обсуждаемому случаю,— какую силу неверие может найти и развить в самом себе, в данный момент, совершенно помимо нашей воли, хотя и согласно с вашим тайным желанием... Равно, впрочем, и вера... В нашем молодом спиритизме заметны сильные элементы к восполнению и без того уже все сильнее и агрессивнее идущего разъединения русских людей». Если это было верно во времена Достоевского, то сколь же возросло пагубное влияние всякого рода «окультизмов» на духовную жизнь общества сейчас!

теля — от кабатчиков до благороднейших народников-«чайковцев». И если с кабатчиков спрос невелик, то с тех же «чайковцев» и со всей иной интеллигенции... Но в интеллигенции в тот период, как с тревогой и отчаянием отмечал Достоевский, все более укореняется «неверие в душу и ее бессмертие — укореняется с повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, индифферентизмом иногда даже насмешливым. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти **русская особенность**, в сравнении хотя бы с другими европейскими народами». «...У нас иной теперь даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верует, то есть не то что не верует, а просто об этом совсем никогда не думает». Говоря о недостаточном развитии культуры в русском образованном обществе, Достоевский саркастически добавлял: «Но культура есть — отрицательная. Монастырей не надо. Наука выше народа».

Интеллигенция не подозревает, писал Достоевский,—«что хоть народ наш и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его, сохранилась и укрепилась в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, несмотря даже на пороки его. Впрочем, атеист или равнодушный в деле веры русский европеец и не понимает веры иначе как в виде формалистики и ханжества. В народе же они не видят ничего подобного ханжеству, а потому и заключают, что он в деле веры ничего не смыслит, молится, когда ему надо, доске, а в сущности, равнодушен, и дух его убит формалистикою. Духа христианского они в нем не заметили вовсе, может быть, и потому еще, что сами этот дух давно уже потеряли, да и не знают, где он находится, где он веет».

Большинство же тех, кто мог бы послужить подлинными духовными просветителями народа, не принимало программы, заявленной Достоевским в статье «Русское решение вопроса» («Дневник писателя» за 1877 г.): «Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту»... и действительно так вам жаль «бедных», то вовсе не обязательно раздавать им именование и надевать зипун: заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его». «Все эти старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое

даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтобы опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности».

Речь, таким образом, шла о просвещении народа, которое Достоевский понимал «по Гоголю» — как просветление души человека, в первую очередь, приобщение его к сути церковной жизни (хотя ссылок на гоголевское определение просветления у него нет); и, кроме того, в качестве неперемennого и необходимого условия, как приобщение его к достижению национальной и общемировой (в те годы преимущественно общеевропейской) культуры.

Но подавляющее большинство интеллигенции пыталось соединиться с народом именно путем «опрощения», нисхождения к народу вплоть до полного подчинения ему — кончилось все это тем, что пришлось подчиниться самым темным силам в народе. При этом в современной ему интеллигенции Достоевский видел все более четкое с годами размежевание на два разряда («помимо совершенно бездарных, ленивых и равнодушных»): отпетые и развратные циники — и неуклонно увеличивающееся число людей, каждый из которых не может вынести в сердце своем убеждения, что он виноват в окружающей несправедливости и **«отдаст все, чтобы очистить сердце свое от вины своей»** (в итоге «все отдать» пришлось в буквальном смысле слова, причем добро бы только свое!). «Многих, о, многих, может быть, брала уже за сердце какая-то скорбь, скорбь самообвинения, искания лучшего, святого...» Эта тяга к обретению истины, выражающаяся преимущественно в форме покаяния — черта, общая у интеллигенции с народом, как ясно видел Достоевский: «Так именно сложилась эта историческая черта и искание доброго приняло в народе нашем... форму покаянную, в паломническом или жертвенном виде» (по существу, в жертвенном — увы: это обернулось и сравнительной легкостью принесения в жертву других). Идея героического самопожертвования во имя блага народа всегда жила в русском духовном сознании, в образованных слоях общества в Новое время эта идея стала приобретать формы революционного действия. С отходом общества от Церкви именно революционеры занимают место пророков и святых. Достоевский понимал это.

«Что такое 14 декабря? — писал он. — Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами, тем не менее к ним примкнуло все великодушное и молодое; с исчезновением декабристов — исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь... Это до того опоганило, что, когда раскусили Белинского, — все повалили за ним...» (так же, как затем «повалили» за Михайловским, Нечаевым, Лениным...).

Достоевский понимал, что подобный тип героического мироощущения весьма распространен в русском обществе. Сам Достоевский не был свободен от него, как мы увидим позже... Отсюда — такая забота писателя — в конце жизни — о молодежи, о том, чтобы она не поддавалась соблазну, не устремилась по роковому пути.

Он с тревогой писал об отсутствии культуры (не в смысле хороших манер, разумеется) у рвущейся в революцию молодежи: «Все перепуталось, и серьезнее, чем вы думаете, ибо они честнее отцов и переходят прямо к делу. Вы в классе прочтете насчет чести, долга, а он вас... спросит, что такое честь, что такое долг. Еще хорошо, если спросит, а то промолчит. Почему это у него так? А вот нет культуры. Там и революционер культурен». «Лассаль... Нет культуры».

Важную роль сыграли происходившие в последней трети XIX века, особенно после отмены крепостного права, интенсивные сословные перемены и «сломы» в русском обществе. Достоевский конспективно обобщал это в записных тетрадах так: «Дворянство, крепостные, за это давало правительство службу и образование, преданья, дворянская литература, понятия, вдруг хаос; люди без образа — убеждений нет, науки нет, никаких точек упора, **уверяют в каких-то тайнах социализма.** — Люди, как Кириллов (персонаж «Бесов», решивший покончить с собой, чтобы освободить людей от страха перед Богом и тем помочь всем сделаться как боги. — К. С.) своим умом, страдающие. Главное — не понимают друг друга. Всю эту кисельную массу охватил цинизм, — молодежь без руководства бросается. Как можно, чтоб Нечаев мог иметь успех. (И чуть ниже: «Нечаев — неужели нет, кто бы сказал, что это действительно гнусно». — К. С.) Меж тем несколько предвзятых понятий, чувство че-

сти — ложное понятие о гуманности. Самое мелкое самолюбие...

Затем. Мы приняли все дары Европы и приняли с яростью тем и большею, что сердцевину-то мы никак не могли принять, то есть непосредственную живую жизнь Европы. И когда там даже самые общие философские и социальные учения принимают национальный оттенок, у нас Михайловский толкует о том, что *национальное* вредно народу, — все способные молодые силы обрели себя на слепоту и глухоту социализма, не имея мнения ни в чем, ложь и противоречие, об Нечаеве никто не смеет высказаться...»

Подобное все более усиливающееся умонастроение накладывалось на страшный разброд в мировоззренческих позициях, разброд в умах и душах, особенно у молодежи, оторвавшейся от традиций и новых ценностей и идеалов еще не выработавшей, детей «случайных семейств» («современное русское семейство становится все более и более **случайным** семейством»): «высших убеждений нет; цели нет»; отсутствие общей идеи, нравственного порядка, «великой мысли» и жажда обрести что-то «новое». «От своих прозаиков и поэтов, — писал в те годы Достоевский, — наше общество требует страсти и идеи... Жаждет осмыслить и узнать великую идею, к которой мы способны» (а на полях здесь приписка: «Все вообще»).

Можно сказать, таким образом, что потерявшее опору в прежней вере русское общество пребывало в конце XIX — начале XX в. — в «верхах» и в «низах» — в страстном ожидании какой-то новой «великой мысли». В «низах» эта потеря обнаруживалась во все большем торжестве материальных интересов, индивидуализма, разврата и жестокости (зачастую при сохранении внешней религиозности). В «верхах» — в нарастающих нравственных и умственных метаниях, при «естественной» антирелигиозности и тяге либо к модным позитивистским теориям (**разумно** объясняющим строение общества), а отсюда — и к революционным идеям, либо к мистике.

Тоска по новой великой идее, призванной осуществить Царствие Божье на земле, пронизывала в последней трети XIX века — начале века XX все русское общество, сверху донизу. Эта тоска проявлялась в массовых патриотических подъемах, удивлявших

даже правительство, во время войны за освобождение славян от турок в 1876—78 гг. и в начальный период первой мировой войны, проявилась и во всех трех революциях. При этом, вследствие нарастающего в те годы торжества материализма, «культы мешка», идея справедливого распределения материальных благ стала выглядеть как дело Божье, как главный итог и решающее свидетельство установления Царствия Божьего на земле. На этой сверхблагоприятной почве и появился марксизм.

Он устраивал всех: «верхи» — научностью, подчеркнутой антирелигиозностью, ясностью и простотой, давно чаемым новым выходом, «великой идеей». «Низы» — в том виде, в каком им преподносили идею марксистской революции — обещанием скорейшего Царства Божьего на земле, именно в виде справедливого распределения имущества, уравнительного раздела («экспроприация экспроприаторов») и мгновенного, почти без усилий, материального благосостояния.

История бытования марксизма на русской почве требует специального исследования (которое становится возможным только теперь), но бесспорно одно. Марксизм был воспринят в России именно как новая религиозная вера — и не только миллионами сшибавшихся в кровавых схватках участников гражданской войны, но и подавляющей частью интеллигенции (что уж говорить, если Ленин в 1922 году писал даже о членах Политбюро как о не разбирающихся в марксизме!). Маркс и Энгельс, как традиционные западные — пусть и радикальные — ученые, старались избегать беспочвенных мечтаний, не только не писали о возможности победы социализма в отдельно взятой стране, да еще такой, как Россия\* — что общеизвестно, но и не разрабатывали каких-либо планов социалистической революции и тем более не назначали сроков построения нового общества, понимая, насколько медленно совершается переустройство жизни миллионов людей. Но в «русском варианте» все стало легко и просто: «в один бы день, в один бы час — все сразу устроилось!» — дело только в том, чтобы

---

\* Которую Маркс называл «Московией» — не для издевки, конечно, а чтобы дать понять, что хотя Россию ожидает «грандиознейшая социальная революция», но «произойдет она в формах, соответствующих уровню развития Московии».

все люди узнали истину, а узнав, они завтра же будут жить по-новому, поскольку человек есть существо разумное, души нет, мораль и совесть «сами делаем» — то есть, они являются производными от базиса, а прошлое не должно иметь власти и над нынешним человеком, а уж тем более — над следующим поколением\*. Оно и будет у нас жить при коммунизме... Не подумайте только, что я пишу это с сарказмом. Какой уж тут сарказм, когда в могилах из-за этого миллионы лежат (и авторы этих теорий в том числе)...

Но мне важно тут напомнить читателю начало наших рассуждений, то сопоставление революционных теорий Нового времени с язычеством, которое там было проведено, — и подчеркнуть, что марксизм, как квинтэссенция, экстракт всех этих теорий, наиболее сопоставим с язычеством — и своим разделением людей на классы «своих» и «не своих» — пролетариев и эксплуататоров (а выносить оценку человеку по классовому признаку не менее аморально, чем по цвету кожи или форме носа!), и своей тотальной ориентацией на материальное благосостояние, и очевидной, по всем ценностным категориям (человеческая личность, гордыня и смирение, духовная жизнь, бессмертие души) враждебностью христианству.

В свое время — да и сейчас — многие удивлялись, как быстро народ русский отказался от веры. Конечно, быстрый и всеобщий отказ народа от веры — тоже один из мифов, заботливо оставленный нам в наследство временно победившими «бесами»: им хотелось, чтобы мы забыли десятки тысяч мучеников за веру, забыли все те жуткие гонения и репрессии,

---

\* Впрочем, чтобы быть до конца объективным, скажем, что обещание — одно из основополагающих в марксизме, — будто человечество с помощью социалистической революции совершит «прыжок из царства необходимости в царство свободы» тоже носит, мягко говоря, утопический характер. Повторю еще раз — здесь вообще очень существенная разница: Смешной человек говорит о необходимости узреть божественную Истину, действительно способную в один миг преобразовать духовное естество человека. Многим же русским революционерам (впрочем, не только русским) казалось: достаточно людям узнать какую-либо научную, позитивную истину — о справедливости равномерного распределения материальных благ, например, о первичности материи, о происхождении человека от обезьяны, о полезности «разумного эгоизма» и т. п. — как они тут же переключаются и начнут жить по разумным началам.

которым подвергалась Православная Церковь. Светлая память всем, принявшим крестную муку, но не отрехшимся от Христа перед врагами Его! Но ведь было и другое: по свидетельству Дж. Рида, уже на следующий день (!) после Октябрьской революции люди в Москве переставали креститься, проходя мимо церкви; ведь сотни церквей по всей стране были разгромлены не какими-то пришлыми врагами, а самими крестьянами или красноармейцами — вчерашними крестьянами. В. Розанов писал: «Переход в социализм и, значит, полный атеизм свершился у мужиков, у солдат до того легко, точно «в баню сходили и окатились новой водой!»\*.

На самом деле это был переход не в атеизм — вера в марксизм-коммунизм пришла на смену христианской вере, вытеснила ее, так что в общем религиозное мироощущение сохранилось. Но все-таки слишком уж неравноценны на первый взгляд эти веры, чтобы первая могла так быстро и легко вытеснить вторую. Однако если рассматривать, в соответствии с изложенной здесь теорией, ту адаптацию марксизма, в которую уверовал народ, как возвращение к языческому мироощущению, то можно сказать, что народ русский временно как бы остутился в подпол православного храма, где было некогда языческое капище (как известно, многие православные церкви на Руси, начиная с первой, Десятинной, строились или на месте прежних капищ, или на тех местах, где стояли языческие идолы).

Но правильно ли будет говорить, что марксистская доктрина была так искажена именно на русской почве, или, вернее, что именно «русификация», «русская сторона этих идей» (как писал Достоевский), в общем правильных, но дурно понятых нашими предками, привела к трагедии? И наша задача сейчас состоит, следовательно, лишь в том, чтобы очистить их, эти идеи, освободить их от искажений — и вновь воспользоваться ими?

Нет, Достоевский предостерегает от этого. «Мне скажут, пожалуй, что господа эти (Милли, Дарвины и Штраусы; Маркса и Энгельса еще не знал Достоевский.— К. С.) вовсе не учат злодейству; что если,

---

\* Цит. по статье Нежного А. «Возвращение блудного сына». Огонек, 1990, апрель, № 15, с. 21.

например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание Христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом, и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что все это так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли — человеколюбивы и величественны,— писал Достоевский.— Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново,— то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома». Аксиома, доказанная, увы, не только историей нашей страны...

Все вышесказанное позволяет, мне кажется, ответить на такой чрезвычайно важный вопрос: почему же все-таки, при том, что оправдалось большинство предсказаний Достоевского, не оправдалось, пожалуй, самое главное, самое важное для него — да и для нас: о неминуемом торжестве пролетарских революций на Западе и невозможности для них разрушить бастионы России?

Рассуждая о неминуемом столкновении богатых и нищих на Западе, Достоевский писал: попытки подвести под это столкновение нравственную базу не удаются и не могут удасться, потому что там многие уже понимают: во-первых, из будущего братства заранее исключаются сто миллионов тех, у кого блага предполагается отнять силой («из братства их исключают вовсе... братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества»); во-вторых, и в будущем обществе человек не откажется от своеволия и прав личности, от безусловного права собственности и от свободы, так что и тут совсем скоро потребуются «страшное насилие», «страшное шпионство и непрерывный контроль самой деспотической власти». Да и пролетариат готов идти в бой не ради торжества «нравст-

венной стороны дела», а единственно потому, что «прельщен обещанием грабежа и взволнован перспективую разрушения и битвы. А потому, стало быть, нравственную сторону вопроса надобно совсем устранить... просто готовиться к бою».

Вот это-то устранение в западных странах «нравственной стороны дела» и привело к тому, что в конечном итоге в Европе верх взяла (тоже зорко угаданная Достоевским) «страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни»: жажда жить уберегла от кровопролитных революций, направив мысль на улучшение жизни трудящихся эволюционным путем, путем повышения **общего** благосостояния в первую очередь, а небольшая приверженность идеальным категориям «высшего смысла жизни» — уберегла от героического самоотречения и массового революционного самопожертвования.

Не то было в России, где именно «нравственная сторона дела» всегда являлась определяющей и где именно в этой точке сходились образованные «верхи» и простой народ. («Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом... — писал Достоевский. — В этом смысле наше общество сходно с народом, тоже ценящем свою веру в свой идеал выше всего мирского и текущего, а в этом даже его главный пункт соединения с народом»); «Все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, для достижения ее готовы жертвовать всем, и даже жизнью»). Одной из главных движущих сил революции и была нравственная тоска по утраченной «великой идее», тоска, которая оказалась намного сильнее инстинкта самосохранения. (Потом уже, по ходу революции, к ней, конечно, примкнуло — и это тоже предсказывал Достоевский — огромное количество «капитанов Копейкиных», с одной лишь «идеей»: «Пусть всякая перемена, только чтоб без труда и готовая... наверное найду, чем поживиться на первых порах».)

### III. Марксизм и Россия — роковая встреча

Повсеместное ожидание «нового слова» и то духовное единение народа русского, о котором неоднократно упоминал Достоевский, послужили, может

быть, двумя важнейшими причинами столь быстрого и некритического восприятия марксизма на Руси — и столь быстрого подъема масс. По ничтожному, казалось бы, поводу — эпизод в вагоне — Достоевский делает такое знаменательное обобщение: «Но так как русский человек, по природе своей, в то же время и самый общительный и стадный человек на всем земном шаре, то и выходит, что... примут с радостью, когда кто-нибудь первый решится разбить стекло и развязать хоть что-нибудь в роде общего разговора. Иногда, под всеобщей «срединой» и бездарностью, вдруг и совсем неожиданно, возникает гениальный талант и увлекает своим примером всех до единого».

Достоевский предчувствовал даже и появление этого «нового человека»: «...Кто-то стучится, кто-то, новый человек, с новым словом, хочет отворить дверь и войти...» Можете называть это мистикой, можете — гениальным предвидением.

Когда христианская идея — в сущности, даже не христианская идея, а образ Христа, идеал жертвенности, смирения и благообразия — в народе замутилась, та «неустанная жажда в народе, всегда в нем присущая, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово», которую выделял Достоевский, обернулась единением под материалистическими идеями всеобщего раздела земного добра, на языческой почве материализма, иными словами. Но единение это было чрезвычайно кратковременным.

Мы уже говорили о том, что для революционного изменения жизни необходимо прервать ее естественный эволюционный ход и заставить людей совершать неестественные для их божественной природы поступки — убивать, насиловать волю ближних. Необходимо, чтобы вся окружающая действительность начала жить, вопреки самой сути мироздания, по родившемуся в чьей-то человеческой голове — или в чьих-то головах — плану. Поэтому идея насилия вообще является — всегда и везде — близнецом социалистической идеи, они появляются на свет одновременно или даже первая чуть раньше второй (что показано Достоевским на примере Раскольниковова), сначала человек ставит себя **над** ближними, а потом у него является мысль — **устроить** их жизнь.

Однако все многообразие жизни изначально не может «уместиться» в самой что ни на есть гениаль-

ной человеческой голове (ибо часть целого не может быть выше целого). И не просто незначительная какая-то доля остается при этом неучтенной; нет, масштаб здесь иной, определенный Достоевским так: «логика учтет сто случаев, а их миллион!» Поэтому общим для всех революционных теорий, даже для самых что ни на есть научных, является абстрактное, «фантастическое» представление о народе и о человечестве, непонимание абсолютной уникальности каждого человека, его полностью свободной воли как главного качества, делающего его подобным Творцу (по образу и подобию Которого он создан), а также непонимание и нежелание учитывать многообразие человеческих «хотений», побуждающих человека порой действовать вопреки собственной выгоде. На практике это оборачивается презрением к конкретному человеку, а потом и самым жестоким насилием над ним, чтобы привести его под ранжир.

Марксизм, с этой точки зрения, тоже является квинтэссенцией всего предшествовавшего ему. В теории Маркса, писал русский философ о. С. Булгаков, «личности погашаются в социальные категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком и ротой, в которой он служит». «Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов, в истории ничего не происходит, и это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма». В основе его «самоуничтожение личности человека, превращение личности в безличный рефлекс экономических отношений, но наряду с ее обожествлением, превращением в человекобога». «...Избранный народ, носитель мессианской идеи, или, как позднее в христианском сектантстве, народ «святых», заменился «пролетариатом»... Стремление человечества «устроиться без Бога, и при том навсегда и окончательно», о котором пророчески проникновенно писал Достоевский... получило одно из самых ярких и законченных выражений в доктрине Маркса»\*.

---

\* Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., Наука, 1990, сс. 315—318.

Вряд ли большинство революционеров конца XIX и начала XX веков, называвших себя марксистами, прочли до конца «Капитал», но по сути своей это учение накладывалось на существовавшее уже издавна абстрактное отношение революционеров к народу — как к некоему объекту, который должен быть любой ценой проведен по предназначенному пути.

Однако жизненная практика не подчиняется таким теоретическим построениям, каждая из составляющих классы личностей подвижна в основном своими частными интересами, нередко не совпадающими с теми, которые расчислены для нее по теории. А потому революционерам, как проницательно угадал Достоевский, весьма свойственно видеть в большинстве народа всего лишь «косную массу», которая тормозит «развитие к «прогрессивному лучшему» и которую надо, следовательно, «пересоздать» и «переделать», — если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту «заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков». Достоевский точно определил это как «официальную любовь» к народу.

Но в Европе все это наталкивалось на мощную силу уважения к правам и неприкосновенности личности, ее собственного самоуважения, начавшую утверждаться даже еще и до Возрождения. Один из виднейших итальянских гуманистов Пико делла Мирандолла писал о достоинстве и ценности человека так: «Посреди мира поставлен ты затем, чтобы обозревать все, что в нем есть. Ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным ты создан с тем, чтобы, как свой собственный, свободный и самовластный творец и создатель, ты создал себе форму; которую ты пожелаешь. Ты можешь выродиться в тупое животное и ты можешь возвыситься до божественного существа силой всей твоей внутренней воли. О, возвышенная благодать этого божественного Отца, о, величественная и удивительная миссия человека, которому дано добиться того, чего он пожелает, и быть <...> тем, <...> к <...> чему он стремится»\*. Укреплению суверенности и автономии личности способствовало и достаточно раннее, по сравнению

---

\* Цит. по Булгаков С. Н. История экономических учений. М., 1911, с. 232—233.

с Россией, развитие буржуазных отношений (впрочем, это взаимосвязанный процесс).

В России дело складывалось иначе. Выше уже шла речь о том, что вследствие общей устремленности к Духу, как важной черты православного мироощущения, ставшей затем доминантой русской национальной психологии, вследствие, далее, общинного по преимуществу характера производственной деятельности человеческая личность, с ее **земными** запросами, правами и потребностями, почти не замечалась — ни ею самой, ни обществом. Духовное, личностное развитие могло быть и было весьма интенсивным и ярким, но при этом с максимальным отрывом от земной оболочки. Высшим же проявлением личности считалась жертва ее на благо общества.

И это прекрасно, в этом — прообраз будущей жизни людей, когда, предрекал Достоевский, каждая личность будет с радостью отдавать всю свою любовь, свои силы и даже жизнь обществу, но общество не будет принимать от нее жертвы.

Однако в конкретных исторических условиях России средних веков и Нового времени такое мироощущение приводило к тому, что государство и власть имущие могли позволить себе распоряжаться личностями своих подданных — для блага, исключительно для блага всех, конечно, — как им вздумается, не встречая протеста ни в себе самих, ни в этих личностях (речь идет о постоянном, ежеминутном сопротивлении, с которым справиться в принципе невозможно, а не о частной вспышке недовольства более или менее значительной группы людей — разинщина, пугачевщина, которую можно, напрягшись, подавить).

Изменилось ли что-нибудь в этом плане с началом петровских реформ, сопровождавшихся налаживанием интенсивных контактов, вроде бы даже интеграции с Западом?

В наши дни бытует мнение, что большевистская революция была своего рода контрреволюцией по отношению к реформам Петра: возврат от европейской открытости, свободы и цивилизации обратно к азиатской замкнутости и деспотизму, перенос столицы назад в Москву и т. д. Достоевский учит нас смотреть на исторические процессы глубже. Для него главными критериями подлинных перемен, реформ были

два: изменение отношения к народу — обретение им свободы и личностных прав — и глубокое усвоение всем обществом культуры (не правил поведения и не передовой техники, а плодов развития человеческой духовности). В этом отношении реформы Петра почти не изменили русского общества, и только в последней трети XIX века начался процесс подлинных перемен. Впрочем, послушаем самого Достоевского.

Он отнюдь не считал, что до Петра Русь пребывала в некоей спячке: шло интенсивное духовное, политическое развитие, создавались шедевры искусства. Достоевский много писал об этом, но сейчас, чтобы не отклоняться от темы, выслушаем такое его суждение: «Древняя Россия была деятельна политически, окраина, но она *в замкнутости своей готовилась быть не права, обособиться от человечества*, а через реформу Петра, мы, само собой, осознали всемирное значение наше». В этом колоссальное, всемирно-историческое значение петровских реформ. Но проведены были эти реформы чисто «помещичьим» способом, утверждал Достоевский, с использованием народа в качестве безгласной рабской рабочей силы. По-настоящему переход к цивилизации (то есть к цивилизованным социальным отношениям) начался лишь с отменой крепостного права.

«Все реформы нынешнего царствования суть прямая противоположность (по существу) реформам Петра Великого и упразднение их во всех пунктах. Освобождение народа есть, например, прямая противоположность взгляду Петра (закрепившего народ) на русский народ как на матерьял, платящий подати, деньгами и повинностями, и не более. Самоуправление есть прямая противоположность (узенькому) взгляду Петра на Россию как на помещичью экономию на крепостном основании, где народ «не живи» и где все управляется несколькими управляющими от помещиков, т. е. чиновниками с помещиком Петром во главе, получающим доходы для войны с шведом.

Классическое образование, наконец, есть прямая противоположность взглядам Петра на образование, никогда не возносившимся дальше техники и насущной полезности, требовавшим мичманов, литейщиков, кузнецов, слесарей и проч. и даже не ставившим ни-

когда и вопроса о том, что такое человек образованный. Нынешнее царствование решительно можно считать началом конца петербургского периода (столь длинного) русской истории. (Задыхание России в тесных петровских рамках.)

ЛВ Там, где образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда не появлялось Аристотелей. Напротив, замечалось необычайное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристотеля (Renaissance, 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось великими техническими открытиями (книгопечатание, порох) <...> и расширением человеческой мысли (открытие Америки, реформация, открытия астрономические и проч.).

И как следствие, суверенность, права личности и культура так и не были усвоены русским обществом в результате петровских реформ — вернее, были усвоены лишь формально.

«Мне всегда казалось,—писал Достоевский,— что у нас только форма и составляет цивилизацию, и не будь формы — все бы на бале передрались, потому что мы не имеем внутренней потребности уважать в другом человека, как это все еще есть и продолжает быть в Европе, а что нас этому научили лишь механически, хотя всегда оставалось «gratez le russe»\*. Но тем не менее дворянство уже вырабатывало из себя подлинно **лучших людей**, которые могли бы стать подлинными руководителями и преобразователями общества. После отмены крепостничества эта часть общества стала вырождаться и размываться. «Но неужели дворянин,— с тревогой писал Достоевский, продолжая вышеприведенную запись,— хотя б с наружной цивилизацией, уничтожился с освобождением крестьян.

Вот почему и хорошо, что одеваются в платья, радующийся вид... Формы были необходимы, их надо удержать. Это потенция». Революция уничтожила дворян, уничтожила и формы, которые могли бы стать всеобщей реальностью...

Но Достоевский не был, как можно подумать, сторонником сословных разделений. У него есть такая запись: «Сословность — отвлеченность, социализм».

---

\* Начало французской пословицы: «Поскребите русского, и вы обнаружите татарина».

Действительно, мы можем сейчас сказать: ни одно общество не было столь сословно разъединено, как советское, до начала нынешних перестроечных процессов, ибо захватившие то или иное место в иерархий (в политике, в научном, художественном мире, в «сфере распределения») обычно удерживали его до конца жизни, если не расправлялись свои же — «снизу» убрать кого-то было невозможно. В противоположность такому разделению Достоевский выдвигал свою мечту о том, что наступит время **лучших людей**, которые сами будут выдвигаться из среды свободного народа, как носители лучших качеств народных и по этому именно праву являющиеся его руководителями.

Восприняв лишь европейские формы, верхние слои общества оторвались от народных корней, от истоков народной нравственности и культуры, лишившись тем самым возможности полноценного усвоения и мировой культуры (которое ведь и возможно лишь на национальной основе), поддавались некритически усвоенным западным теориям, принимая, по словам Достоевского, сразу за аксиому то, что на Западе является лишь гипотезой. «Интеллигентный русский, — писал Достоевский, — в огромном числе экземпляров, есть не что иное, как умственный пролетарий, прошедший через бонн и гувернеров ветром Европы. Нечто без земли под собою, без почвы и начала, носимый. Можно сказать: блаженны нищие духом, но нельзя сказать: блаженны пролетарствующие духом».

Десятилетиями этот тезис — о западном происхождении наших революционных идей — высмеивался советской официальной пропагандой вкупе с официальной исторической наукой и официальным литературоведением (из одного ведомства направлявшимися). Но ни мы сейчас, ни Достоевский сто лет назад не представляли себе дело так, как выглядит оно теперь в интерпретации того солидного ведомства и авторов журнала «Молодая гвардия»: существует-де некий антирусский центр, откуда нам подбрасываются разрушительные идеи, а здесь платные или одуроченные исполнители разрушают государство. Нет, революция, безусловно, имела свои корни и причины именно на этой земле и совершалась, в конечном итоге, **частью** самого народа. Но мы сейчас пытаемся разобраться в том, почему сочетание немецкой классической фи-

лософии, английской политической экономии и французского утопического социализма (как определил Ленин составные части марксизма) именно здесь, в России, потрясло до основания страну, именно здесь стало объектом языческой веры и ожидания чуда в течение семи десятилетий и именно отсюда начало свое разрушительное шествие по миру.

Итак, писал Достоевский, «наше общество всех более готово к нигилизму. Слава Богу, что не народ». Впрочем, тут же добавлял он, «народ иными древними властителями нашими обращен был в податную единицу». Отсутствие культуры, двухсотлетняя «отвычка» от реального дела (Достоевский имел в виду ту часть русского общества, которая в результате петровских реформ оторвалась от народа и либо предавалась безделью, либо занималась бюрократической, пустотелой, бессодержательной деятельностью) привели к лености и усыплению духа (откуда уже короткий путь к его закабалению силами зла), к разрушению прежних идеалов и неспособности обрести новые — а на порушенное духовное пространство активно проникают революционные идеи.

«Все делается рабски, мы рабы, не научились быть самостоятельными. Нет самостоятельности. Заметьте, что наш либерализм и наша даже краснота именно тем характеризуются, что преследуют всякое зарождение на Руси самостоятельности. И это с самого начала нашего либерализма, с Белинского, с Герцена. Они только мелкое либеральничанье, но в главном самые страшные консерваторы и есть. *Status quo* — красные отрицают все, но рабски неоригинальны. Отрицание же всего — потому что дешево достается, не требуя малейшего изучения; две-три науки, атеизм и коммунизм (ибо у нас никогда не было социализма, его прямо разрешили формулой коммунизма и примером интернациональной коммуны) не требуют никакой науки и школы. Неученый может даже не прочесть, а услышать от товарища, и уж (искренно и чистосердечно) презирает всех. Кругом них рабское молчание, и сочувствующих и несочувствующих. Последнее хуже, потому что рабское и трусливое молчание». Народ же — не только крепостные крестьяне, которым после царского указа 1861 г. еще долго надо было переходить в иное качество, но и городские обыватели, молодежь и учителя, уче-

ные и литераторы — привык повиноваться. Потеряв или разрушив в своем сознании одну веру и одно подчинение, они тут же искали другую веру и другого командира. «Все мы воспитались в самой фантастической бездеятельности и в двухсотлетней отвычке от всякого дела. Чиновная деятельность была формулой бездеятельности. Только предлагалось и позволялось заняться разворотом. Общество, отученное и которому запрещена всякая *самодетельность* гражданина, не только не сложилось, но и разложилось до заразы собою даже низших слоев. Не выработалось ничего.

Мысль обратилась в мечтательность, в предположительность. (Ничего удивительного, что явились социалисты рьянее западных, там само правительство приучало.) Ничего удивительного тоже, что эти социалисты были крепостники, как в средних веках, ибо потеряли малейшее чувство долга и гражданственности. Гуляли лишь мысль и эстетическое чувство, а дело слушалось самого грубого эгоиста.

Да, эти социалисты, русские революционеры, воистину были крепостники, ибо на народ они смотрели — в русле сложившихся «властных» традиций — точно как на «податную единицу», на средство для достижения своих целей. Вследствие утвердившейся традиции изменять судьбу народа посредством революций «сверху»\*, многовекового отсутствия общественной свободы (именно об **общественной свободе** речь — подчеркиваю, чтобы не спешили с упреками в приписывании всему народу рабской и холопской психологии: любой сознательный христианин — то есть практически большинство народа до начала XX века — является человеком свободным постольку, поскольку прочна в нем вера), присущее всем революционерам в мире представление о народе как о «косной массе», которую надо «пересоздать и переделать», «заставив нас слушаться», именно в России получило наибольшее распространение (на тот период, конечно; потом нашлись опередившие — в Китае, Кампучии). Причем любопытно и в высшей степени характерно, что если в годы жизни Достоевского подобные взгляды принадлежали представителям высшей аристокра-

---

\* Глубокий анализ этой исторической традиции русской общественной жизни Н. Эйдельманом в книге «Революция сверху в России». М., Книга, 1989.

тии, барам-западникам, то в последующем те же взгляды были полностью восприняты революционерами — выходцами из самых народных низов. Достоевский писал: «Почему в Европе называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере на него опираются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит всему тому, что подавляет народную силу, и кончает господчиной. О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но в «бессознательности»-то и трагедия». Вот коренной порок первых поколений революционеров, четко обозначенный Достоевским тогда, когда ни о каком засилье «инонационального элемента» в русском освободительном движении еще не было и речи. «Демократы наши любят народ идеальный, в отношении к которому тем скорее готовы исполнить свой долг, чем он никогда не существовал и существовать не будет». «У многих из наших радикалов-«европейцев»,— добавлял Достоевский,— сердце чистое, справедливости и любви жаждущее», но они «любят русский народ таким, каким желали бы его видеть и каким представляют его... А так как народ никогда таким не делается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение». Первое такое столкновение произошло, когда выяснилось, к 1918—1919 гг., что русский крестьянин, да и русский пролетарий вовсе не желают того социализма, который принесли большевики. И началось **внедрение** железом и кровью.

«Отрицательная любовь» к народу очень скоро может перейти и в «положительную ненависть»,— предупреждал Достоевский. У первых поколений революционеров этот процесс совершался большей частью потому, что, как пронизательно замечал писатель, «сознание своего полного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству в то же время, при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему». Отсюда уже прямой путь к печально знаменитой фразе «любимца партии» Н. Бухарина: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни пара-

доксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» — фразе, первоначально казавшейся немыслимой, невозможной в устах такого человека.

Но Достоевский и такие рассуждения и действия провидел заранее. «...Если народ вас не послушается, то вы тотчас же на него рассердитесь и от него отступите,— предрекал он «народным заступникам». — И какие же вы деспотики! Нет вот желай этого, потому что это разумно. Да он (народ.— К. С.) прямо скажет, что это неразумно, потому что вы предreshаете природу его...» А когда **отступишься** от народа, возникнет возможность (затем и необходимость) перейти от методов словесного убеждения к иным методам. Вот что предрекал он «благодетелям» народа после их возможной победы (признаюсь, когда впервые в ранней юности прочел эти слова, они поразили меня — такое предвидение из XIX века казалось чудом): «Закрепостите вы его (народ.— К. С.) опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать-то — печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет». По частному поводу (прошение ректора Петербургского университета против публикации письма, осуждающего студентов-нигилистов) он делает такой пророческий вывод: «Чего же после того бояться дать свободу народу. Дайте, мы ее сами окрутим и введем в границу. Во всяком либерале — чиновник и попираетелъ свободы народной». В записных тетрадях Достоевского есть такая запись: «Таким образом, в сущности социализм возбуждает протест личности и никогда не осуществится...»

Недооценил Достоевский возможную силу подавления личностного протеста? Нет, продолжим чтение этой записи:

«Ваша разумность совсем неразумна; ибо она не укажет, что делать с протестом личности, кроме деспотического к нему отношения.

Но она перевоспитается в разумность, и **личностей не будет...**

Куда вы денете протест?

Какой протест?

Всякий. Дурной или хороший протест личности против стадности и вообще протест во что бы то ни

стало — прямо признать за нормальное, что этот протест порочен и карать за него. Это уже «Китай». Что и осуществилось, как в переносном, так и в прямом смысле. Ну а в сознании последующих поколений «благодетелей» уже господствовала одна лишь «идея» во что бы то ни стало удержать власть, даже ценой уничтожения большинства народа. Террор, начатый с первых же месяцев революции, — по существу, война с народом — придавал последующим расправам как бы некое идеологическое оправдание. Но даже сейчас, когда уже никакого оправдания нет, если встает вопрос: жизнь и здоровье десятков тысяч людей или власть, выбирают однозначно — власть. Чернобыльская история тому пример.

Но уже во внешне мирной, никому вроде бы конкретно не угрожавшей деятельности революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского, Зайцева и других Достоевский сумел увидеть страшные перспективы будущего насилия.

Речь идет даже не о стремлении давать наставления искусству, но о главном в общественной деятельности неверующих, недостаточно укорененных в культуре людей, доверяющих исключительно полученным знаниям: «Г-бов (Добролюбов. — К. С.) — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность, с действительностью он обходится даже уж слишком бесцеремонно; нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только бы поставить ее так, чтоб она доказывала его идею». Подобная склонность не была личной особенностью Добролюбова. Вот какое существенное качество революционеров пророчески отмечал Достоевский: «Никогда не удостоят вникать в реальную правду вещей, а удаляются в свои теоретические определения, сделанные когда-то на великой сходке... а между тем оказавшиеся в *иных случаях* страшной близорукостью и несправедливостью». «Теория хорошо, но при некоторых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то должна подчиняться ее строгому контролю. Иначе она станет **посягать на жизнь**, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, нагибать к себе действительность». В результате отношения с народом, предрекает Достоевский, неизбежно будут строиться по такой схеме: «Народ должен подойти к нам,

или лучше мы должны подвести его к себе, потому что в нас, собственно, витают общечеловеческие идеалы, мы представители на Руси прогресса и цивилизации\*. А народ глух, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа».

Говоря об одном из «радикальных» социальных предложений Добролюбова, демонстрирующем очевидное пренебрежение конкретными людскими судьбами, Достоевский пишет: «Слава Богу, что это по крайней мере только в литературной статье, а не на деле». Действительно, **на деле** это обернулось ужасными, неисчислимыми бедствиями.

В деятельности Чернышевского и Добролюбова «нагибание к себе действительности» происходило лишь на бумаге; но их последователи делали это уже при помощи пулеметов и орудий, пыток и расстрелов. Посягательство на жизнь происходило уже впрямую — на жизнь миллионов и миллионов сограждан.

И это было неизбежно. Ведь основа всякого насильственного переворота (инициаторы которого не желают ждать, когда в душах людей произойдут соответствующие изменения и даже не задаются подобным вопросом — насколько люди готовы внутренне к предполагаемым социальным переменам — до захвата власти, рассчитывая произвести преобразование внутреннего мира сограждан быстро, в два-три приема **потом**) — основа любого подобного переворота есть «нагибание действительности». И чем переворот радикальнее расходится с предшествующим миропорядком, тем «нагибание» — сильнее. А допустивши в принципе такое насилие над жизнью, над человеком — дойдешь и до ГУЛАГа, и до массовых расстрелов. Неизбежно дойдешь, а если сами зачинатели не дойдут (удержат рудименты морали), то те, кого они вызвали к активной деятельности и кому развязали руки своими действиями, — те дойдут.

Однако на самом деле тех, кто не мог бы дойти, оказывается очень мало. Ведь сама цель — **посяга-**

---

\* Впоследствии большевики не раз использовали такой пропагандистский прием: хотя нас мало и мы пользуемся поддержкой меньшинства народа, тем не менее мы лучше и глубже всех понимаем народные интересы, а потому выражаем волю всего народа (см., напр., статью В. И. Ленина «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» (ПСС, т. 40).

**тельство на жизнь** — отбирает таких, кто внутренне уже **готов**, кто выбрал для себя именно этот метод разрешения жизненных проблем, кто если и переживает чью-либо смерть — то, как язычник по Евангелию, только смерть родственника или друга («любящих вас»), а жизнь и смерть других — тысяч и миллионов — осмысливается лишь теоретически. И так повелось не вчера. «Пестель засекал людей», — отмечал в «Записных тетрадах» Достоевский. «Это утверждение не соответствует действительности» — ничтоже сумняшеся отмечают в комментариях публикаторы \*, как будто жизнь Пестеля им известна в мельчайших подробностях. Не имею в данный момент возможности ни подтвердить, ни опровергнуть приводимый Достоевским факт, но дело ведь в другом: авторство Пестеля в «Русской правде» никто отрицать не будет, а там разработана такая тоталитарная система подавления всяческого инакомыслия в будущем государственном устройстве и такая всеохватывающая система обеспечения «государственной безопасности», которая в полной мере была осуществлена только Сталиным.

Отсюда, от подобных проектов, — через несколько этапов — уже прямая дорога к Нечаеву с его кредо: «Любить народ — значит водить его под картечь». А дальше уж и особых изменений не было — разве что в масштабах — через 1917—1924 гг., 1929—1939 гг., вплоть до Новочеркасска (1962 г.) и нынешних Тбилиси и Вильнюса.

«Вы хотите, чтоб вас не слушали, а слушались», — писал Достоевский о Чернышевском. Но когда Достоевский предупреждал, что рвущиеся «облагодетельствовать» народ деятели в скором времени после прихода к власти народ опять скуют и пушки будут на него требовать, — это воспринималось как полемическое преувеличение. Но вот наступил 1918 год — и по приказу Советской власти пушки открыли огонь по крестьянам Воронежской губернии, протестовавшим против продразверстки. Это был один из первых залпов (не самый первый, конечно) той войны против собственного народа, которую коммунисты вели семьдесят четыре года. «Я не знаю другой страны, в которой власти так боялись бы своего народа», —

---

\* Литературное наследство, т. 83. М., Наука, 1971, с. 634.

сказал в выступлении по телевидению (14/II.1991 г., «Пятое колесо») грузинский режиссер Тенгиз Абуладзе. Так боялись и до такой степени ни во что ставили бы жизнь своих подданных,— добавил бы я.

Возвращаясь к деятельности революционных демократов, оппонентов Достоевского, следует еще добавить, что и вся будущая программа насилия над искусством уже была заложена в их рассуждениях и действиях. Выступая, на первый взгляд, за свободу, они, вероятно, не отдавая даже себе в том отчет, шли к самому настоящему тоталитаризму, ибо присваивали себе монополию на знание того, что полезно и что вредно для народа, и, во-вторых, полагали, что они в силах и обязаны влиять на исторический процесс.

Вот что писал тот же Михайловский, считая необходимым разъяснить читателям, почему «Отечественные записки» печатают роман «Подросток». «Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева (обличительное изображение молодежного кружка.— К. С.), со всеми ее подробностями, имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, «Отечественные записки» принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, **даже если б он был гениальный писатель**\*. Таким образом, революционно-демократический критик, даже после «Преступления и наказания» и «Идиота», отнюдь не был убежден, что Достоевский — гениальный писатель, но главное — даже будь ему и его коллегам заранее известно, что перед ними произведение гениального автора, они бы оставили его не напечатанным, если б оно не соответствовало их направлению. Такая позиция не оборачивалась бедой в тогдашних условиях (от нее страдали только те читатели «Отечественных записок», которые не были подписаны ни на какое иное издание), но она стала разрушительной для культуры в тех условиях, когда наследники этих деятелей установили монополию и на всю печать в стране. А чтобы гениальные писатели не только не издавали, но и не писали свои **не соответствующие нашим задачам** произведения, мы

---

\* Литературное наследство, т. 83, с. 66.

их вообще лишим возможности писать, свободы, а то и жизни. «Фашизм — это единственный политический строй, который не создает культурных ценностей», — писал Хемингуэй. Увы, приходится признать, что все не только гениальные, но и просто талантливые писатели (композиторы, художники) в нашей стране — из тех, кто вообще смог пробиться к творческой деятельности, — жили и творили не просто в постоянной конфронтации с властью (творческие люди вообще редко находятся в союзе с любой властью), но буквально вели с этой властью борьбу за выживание. Все, даже такие «советские классики», как Горький, Маяковский, Шолохов (периода создания «Тихого Дона» и «Поднятой целины»).

Но вначале случилось именно то, о чем мечталось Достоевскому, — «народ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо ближе и успешнее найдут друг друга, чем то было в наше время и в наше поколение» — однако на совсем иной основе.

На основе марксизма, для которого, как мы можем с помощью Достоевского понять, в силу ряда исторических, психологических, политических причин наилучшим полем распространения оказалась, увы, именно Россия. Россия, в которой он был воспринят — одними сознательно, другими — неосознанно — в качестве новой религии, или, вернее, нового культа \*. К сознательно принявшим марксизм в качестве нового культа я отношу тех образованных революционеров, которые изучили труды Маркса и Энгельса и, понимая, что они не дают ответа на то, как строить коммунизм после революции, победившей лишь в одной стране, да еще такой, как Россия, тем не менее пошли на свершение подобной революции, надеясь, что марксизм впоследствии явит какое-нибудь чудо. А потом, после серии кровавых бань, когда эти первоначально соединившиеся, были поголовно перебиты, а с ними и те, кто вообще на подобной почве объеди-

---

\* Хочу вспомнить в этой связи и такое высказывание Достоевского о спиритизме: «Спиритизм — какая глубокая чья-то насмешка над людьми, изнывающими по утраченной истине, и тут кто-то говорит: постучите-ка в стол, и мы вам, пожалуй, ответим, что вам делать и где ваша истина». Не таковы ли были отношения большинства адептов марксизма с этим учением?

няться не хотел, установилась в 30-е годы та «всечелость и духовная неразделенность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом», которую Достоевский мыслил, конечно, совсем по-другому... Последствия **этого** духовного единения мы не можем преодолеть до сих пор.

Говоря о начавшемся общественном обновлении после Крымской войны, Достоевский пишет: «К этому движению примкнуло множество нахального и грязного народу, и чистые сердцем русские люди, действительно жаждавшие тогда обновления повсеместного и нового слова, не разоблачили в них негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив, думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и общество... Теперь этой ошибки, кажется, не повторится...» Повторилось, да еще как повторилось, увы.

Все это — соединившись и образовав ко второму десятилетию нынешнего века гигантскую «критическую массу» — и взорвалось теми трагедиями, которые обрушились затем на нашу землю. Сбылись самые ужасные предположения Достоевского, вспомним: «Достигнуто ли даже это-то (гарантия от физического истребления.— К. С.) даже для этих-то Невского проспекта детей?»

«Мы, русские, прежде всего боимся истины, истина нам кажется чем-то слишком уж скучным и прозаическим,— грустно писал в конце жизни, отчаиваясь достучаться до соотечественников, Достоевский.— Истина лежит перед людьми по сто лет на столе, и ее они не берут, а гонятся за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастическим и утопическим».

Но — и тут мы подходим к главному вопросу нашей работы — почему же все-таки не сумел ничего предотвратить, не сумел даже приостановить развитие этих губительных тенденций Достоевский, так точно все предсказавший, предупреждавший?

Мой ответ, может быть, не претендующий на окончательность и всесторонность, будет таков: во многом потому, что сам он оказался носителем, и субъектом, а порой и источником тех разрушительных процессов, от которых стремился своих современников и потомков уберечь...

#### IV. Заложник язычников (Достоевский и «бесы» национализма)

Сравнительно недавно, перечитывая свои выписки из «Дневника писателя», я понял, что Достоевского вполне можно использовать как... апологета Октябрьской революции!

Но об этом — позже. Рассмотрим пока непростую проблему «Достоевский и язычество» на примере самого больного, пожалуй, для писателя вопроса — национального.

Достоевский был убежден в богоизбранности русского народа, его особой миссии среди народов мира. Главную характерную черту этого народа он формулировал так: «в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их». Достоевский писал: «Общая мысль, идея, завет «общечеловеческого единения», всех племен Афета, и даже дальше, гораздо дальше,— от Сима и Хама...— всемирное общечеловеческое единение — есть национальная идея русского народа; русский идеал — всецельность, всепримимость, всечеловечность». Но убежденность эта — в такой форме — никак не может быть названа национализмом. Потому, во-первых, что нести другим народам русский человек должен идеалы любви и братства, не претендуя ни на что большее. Потому, во-вторых, что убежденность эта позволяла писателю в то же время (и даже требовала) критически глядеть на своих соотечественников.

В эту же пору Достоевский сформулировал одно из лучших в истории русской общественной мысли определений славянофильства: «Славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в сущности, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и его правду, и вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) — из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательных представлений московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же Марфы

Посадницы, прочитанной когда-то в детстве, и, наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического...»

Задолго до того, как ревнители «русского патриотизма», от Сталина до нынешних лидеров «духовной оппозиции», обличали «космополитизм», Достоевский писал: «*Космополит*. Так как я вижу, что нет космополита, кроме русского, стало быть это существенная черта русского, вот его и особенность».

Но удержаться на подобной светлой точке зрения и понимания Достоевскому, особенно в статьях, посвященных внешней политике, — не удастся. Начнутся сбои: сначала в виде одного из главнейших, по христианскому учению, грехов — саможаления («*Вся политическая жизнь России в продолжение всего, может быть, девятнадцатого столетия в сущности была лишь жертвою ее Европе чуть не всеми ее интересами*»). Но это еще корректируется такими справедливыми замечаниями: «*Не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб ее интересам (а на деле никогда не в ущерб)?*»

Но постепенно, по мере развертывания политико-публицистической деятельности Достоевского, образ народа, несущего людям братство, вытесняется образом народа исключительного, превосходящего все остальные, научающего остальных основам бытия. Впрочем, предпосылки к этому были и ранее. Еще в 1861 году он писал: «*Скорее изобретется регретium mobile или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление*».

«*Да, мы веруем, что русская нация, — необыкновенное явление в истории человечества*». «*Даже физическими способностями русский человек не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости — чего нет в европейских народах, в смысле всеобщей народной способности*». И даже так: «*Идеал красоты человеческой — русский народ*». (Это, правда, в черновиках.)

Отсюда уже один шаг до таких горделивых утверждений: «*Но похоже ли наше тихое, смиренное православие на предрассудочный мрачный, заговор-*

ный, пронырливый и жестокий клерикализм Европы?» «Россия сильна народом своим и духом его, а не то что лишь образованием, например, своим, богатствами, просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерю живой национальной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными».

А там недалеко и до такого, стоящего уже на опасной грани (если не за ней), заявления: «Русская земля принадлежит русским, только русским, и ни клочка нет в ней татарской земли». (Это по поводу необходимости учитывать чувства и мусульманских народов в призывах вставать всем как один на борьбу за освобождение славянских братьев по вере, против мусульманской Турции.)

И вот, наконец, появляется — как черт, как кошмар Ивана Карамазова — среди различных «масок» автора в «Дневнике писателя» «парадоксалист», со своим рассуждением о благотворности сражений и войн. Сначала под предлогом благотворности войн для искусства, затем — спасительности их для всего народа, человечества и даже якобы оправданности христианской истиной (сам же Достоевский не мог не понимать, насколько она не о том): «меч не прейдет до кончины мира». «Народ в войну выигрывает больше, чем теряет, единственное лекарство от неравенства — война». «Без великодушной идеи человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество потому и любит войну, чтобы участвовать в великодушной идее. Тут потребность».

Все эти рассуждения можно было бы действительно списать на «парадоксалиста», если бы, во-первых, они подавались не с такой очевидной симпатией и хоть как-то всерьез были оспорены и если бы — во-вторых, и в главных, — они не повторялись потом от лица самого автора «Дневника писателя». Именно эти-то высказывания Достоевского и могли бы быть, по-моему, с успехом использованы для доказательства необходимости и благотворности любой, самой кровопролитной революции (тоже ведь своего рода «лекарство от неравенства!»): «народ (в бой. — К. С.) весь пойдет, всей стомиллионной массой», «пролитая кровь за великое дело любви много значит, многое очистить и омыть может, многое может вновь оживить и многое, доселе приниженное и опоганенное в

душах наших, вновь вознести». «Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока», «...пролившая кровь несомненно спасет... от вдесятеро большего излияния крови, если бы дело отдалилось и еще раз затянулось».

«Просыпалась новая идея, вознесшая, может быть, сотни тысяч и миллионы душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в котором купались до того эти души»\*.

Можно сказать, суммируя многое вышесказанное, что Достоевский надеялся: идея освобождения славянских племен и объединение их под руководством России могла вывести страну к той истинной великой идее, которая восполнила бы духовную тоску всего народа. Но незаметно происходит та же подмена, что и в теории революции (правда, что называется, на порядок выше): путь к благой цели, проходящий через насилие и подразумевающий (пусть лишь на первых порах) благо лишь для избранных, приводит в пустоту — благая цель растворяется, как мираж.

«Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего — сохранять». (Эта мысль, несколько напоминающая молодого Маяковского, высказана, правда, под маской «парадоксалиста».)

Далее, уже от самого Достоевского: «Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия... Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожается в нынешнем обществе. Единственное лекарство — война».

Что можно сказать об этом? Во-первых, и в главных, надо учитывать, конечно, что, в отличие от революции, справедливость войны за освобождение славян до сих пор не подвергается (и вряд ли подвергнется) сомнению: иными средствами насильников было, увы, не остановить. Но тогда признаем и то, что множество честных людей того времени и последующих десятилетий не видели иного пути восстановления общественной справедливости, защиты обездо-

---

\* Характерно, что и результаты движения за освобождение славян Достоевский оценивает в той же экзальтированной, с нажимом, манере, в какой через несколько десятилетий будут оценивать свои достижения революционеры: «слишком очистился горизонт наш, слишком ярко восходит новое солнце наше...»

ленных, кроме насилия. Вспомним роман «Доктор Живаго» такого убежденного противника насилия, как Б. Пастернак — исповедь красного командира Стрельникова перед смертью, его рассуждения о том, что невозможно пребывать в раю непричастности, отказываясь от переделки жизни, когда бедные люди вокруг живут в муках: «Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата маменькиных сынков, студентов-белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделялись от слез и жалоб обобранных, обиженных, оболещенных... А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они... Происходили революции, самоотверженные молодые люди выходили на баррикады...»

Так что, как и русско-турецкую кампанию, революцию можно было считать войной за спасение и освобождение угнетенных и истребляемых... Уж первое-то поколение бойцов революции так считало вполне искренне. И надежд на внутреннее моральное преобразование «богатеев» было у них не больше, чем в 1877—1878 гг.—надежд на моральное раскаяние турок...

Всецело приветствуя тот пересмотр истории трех русских революций начала XX века и гражданской войны, который происходит теперь, не могу не отметить и здесь некоторой односторонности: нам ведь надо, чтоб одна какая-то сторона была полностью права, а другая — совсем не права, ибо она — не наша (вот оно, языческое-то наследие). Так было раньше; теперь мы просто поменяли «стороны», и бывшие «наши» стали «не нашими», с соответствующими последствиями. В этой связи не могу не процитировать строки из весьма содержательной статьи, появившейся несколько лет назад в таком радикальном издании, как «Родник»:

«Накопленный в обществе потенциал социальной ненависти разносит в клочья привычные представления о добре и зле, возможном и невозможном, до-

пустимом и недопустимом... Если же в первооснове надвигающейся социальной катастрофы «динамит человеческого тела», голод, накапливаемый поколениями, то взрыв грозит разнести рамки любой цивилизации вообще, которая воспринимается как враждебная, ибо плоды ее пожинают другие...

Трудно поверить, что картины грядущей гражданской войны — со всеми ее ужасами, с белым и красным террором, расстрелом пленных и заложников и всем тем, что принять сегодня гуманисту-интеллекту просто невозможно, — чтобы все это могло остановить или охладить ненависть к режиму и его представителям среди русских рабочих, переживших, скажем, Ленский расстрел 1912 года... Что должен был чувствовать к режиму, например, кишиневский еврей, в присутствии которого его детям погромщики выкалывали гвоздем глаза? Как могли относиться к режиму и всему, что было с ним связано, казахи и киргизы, почти треть которых была уничтожена при подавлении восстания 1916 года?

Можно ли было убедить одичавших от грязи, крови, холода, вшей солдат, что дикие расправы над офицерами, ходившими в атаку позади солдатских цепей и сидевшими на телах здоровых солдат, чтобы не промочить ног в затопленных жидкой грязью окопах, — не соответствуют цивилизованным правоотношениям?

Какую ценность могли иметь тонкие эмоции героев Бунина и Чехова для обитателей туберкулезных трущоб Самары и Нижнего? Что должен был чувствовать мужик по отношению к элегически-изысканному миру дворянской усадьбы, с его домашним музицированием, многоязычной библиотекой и длинными вечерами с чаем, вистом и диспутами о смысле жизни, если в этой усадьбе еще на его памяти пороли, взимая недоимки, его родителей и портили девок?

А с другой стороны, что должны были чувствовать идеалисты-интеллектуалы в отношении режима, при котором еще в начале 1900-х годов чтение книг по собственному выбору мог себе позволить лишь очень смелый человек, а административная высылка «была делом обычным, как насморк»\*.

---

\* Фадин А. Воспоминания о непережитом. Родник, 1987, № 11, с. 79.

И конечно, Достоевский не был бы Достоевским, если бы, защищая войну, пусть даже войну за освобождение славян, не оговорился бы: «Но все-таки полезной оказывается лишь война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и губили их». Губительным для революции оказалось то, что мыслилась она идеалистами-идеологами как предпринятая «из высшего и великодушного принципа», а на деле оказалась — «для гордого насилия» и «материального интереса»... О чем, впрочем, и предупреждал Достоевский за полвека до того.

Так что будем честны к Достоевскому и не будем спешить с обвинениями против него. Но будем уж тогда честны и к самим себе, вспомним и другое.

Меня никак нельзя обвинить в особых симпатиях к турецкому народу, прах двух миллионов жертв геноцида постоянно стучит в сердце, но даже меня «царапает», когда я читаю в «Дневнике писателя» о «скотах, называемых турецкою нациею». Впрочем, здесь, согласен, холодная голова — не советчик. Перечитайте хотя бы те описания зверств, которые остались в тексте статей «Дневника...» — вы наверняка так же не выдержите искуса, как и Алеша Карамазов при «допросе» его Иваном.

Но если бы Достоевский писал в таком тоне только о турках! К сожалению, к концу жизни, в последних выпусках «Дневника писателя» и в письмах, он допускал высказывания, никак не согласующиеся с той миссией всечеловеческого братства, которая предназначена русскому человеку.

«Если б возможно было повторить болгарские летние ужасы (зверская поголовная резня, устроенная турецкими оккупантами.— К. С.) (а это, кажется, очень возможно, как-нибудь неслышно и втихомолку), то в Европе англичане первые пожелали бы повторения этих убийств хоть раз десять — и не из кровожадности, вовсе нет: там народы гуманные и просвещенные,— а потому что такие убийства, повторенные десять раз, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканском полуострове делать против турок восстания... и турецкие бумаги повысились бы разом на

всех европейских рынках». Это — об англичанах, а вот — об итальянцах: «Итальянцы... смотрят теперь хотя и безмерно уменьшенным взглядом на судьбы свои, но зато позитивно и материально, и, несмотря на прозаичность занятия, неуклонно хлопочут устроить свое будущее мещанское счастье под знаменем Италии». Не лучше положение и «в теперешней Франции, уже унылой и раздробленной духовно». И такая запись: «Франция в будущем (ничто)» — правда, в черновиках. †

Негативное отношение Достоевского к полякам доказывать не надо, приведу здесь лишь одну выдержку: «...никогда не будет Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша, освобожденная царем... Но Старой Польши никогда не будет, **потому что** ужиться с Россией она не может». (И такую «логику» использует Достоевский! Верю и я, что из России придет просвещение другим народам, но ведь не так, не силой же!) А вот как с этим быть: Достоевский выражает уверенность, что на освобожденных негров в Америке как на «свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете...»

Не могу, не хочу дальше цитировать! Хочу объяснить отзывы о «венгерцах» — «Как вам мог прийти на ум такой пример и такой народ?» — тем, что Достоевский, во-первых, полемизирует здесь с оппонентом и упрекает его за неудачный пример, во-вторых, раздражен откровенно антирусской политикой венгров в тот период... Отзывы о католичестве, даже такой: «разумеется, католичеству даже выгодно будет резня, кровь, грабеж, и хотя бы даже антропофагия» — готов оправдать идейной непримиримостью православно верующего человека (в принципе гораздо более правильной, нежели вялые рассуждения о том, что все религии и все конфессии по-своему хороши); кроме того, речь здесь идет только о руководящей «верхушке» католической церкви... Но все равно читать это больно (а католикам? а представителям всех вышеупомянутых наций?). Да и имею ли я право оправдывать Достоевского? Нуждается ли он в этом? Тем более что то, о чем буду писать дальше, оправдать уже не могу — я имею в виду здесь только доводы разума, «евклидоваго разума». Например, настоятельные рекомендации относительно Крыма, способные просто сбить сейчас, особенно **сейчас**, со-

временного читателя с толку: «Нечего и жалеть о татарах — пусть выселяются, а на их место лучше бы колонизовать русских... Во всяком ведь случае, если не займут места русские, то на Крым непременно набросятся жидаы и умертвят почву края...»

И, наконец, последнее, самое, может быть, паразитическое: отзывы Достоевского о тех народах — сербах, македонцах, черногорцах, — которые и шла спасать от турок русская армия.

«Самые эти народики», — пишет о них Достоевский (!), повторяя, что «разовьются они не скоро ... а пока и, может быть, еще целый век, России нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли».

В 1881 г. обстановка на Востоке изменилась, овладение Константинополем перестало быть реальным, и Достоевский призывает бросить там все и начать завоевания в Средней Азии. «...Азия для нас та же не открытая еще нами тогдашняя Америка. Со стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил... И знаем ли мы, какие богатства заключены в недрах этих необъятных земель?.. Где в Азии поселится «урус», там сейчас становится земля русскою.

...Нам стоит только дождаться и не вмешиваться (в европейский конфликт. — К. С.), даже когда звать начнут, и чуть только грянет там у них распря и затрещит их «политическое равновесие» — разом покончить и Восточный вопрос... А потому и опять-таки: да здравствует победа у Геок-Тепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память «выбывшим из списков» богатырям! Мы в наши списки их занесем».

Что же до славянских народов, то «славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять и любить, даже помогать им чем можно **при случае**. К тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок». А ведь ранее мы читали в том же «Дневнике» за 1876 г., что в деле спасения славянских братьев от турецких насильников нельзя ждать и двух месяцев — срока дипломатического ультиматума: «Но Болгария, славяне, что станется с ними в эти два месяца, вот вопрос?.. Опять, может быть, потечет болгарская кровь! Ведь надобно же будет Порте доказать своим софтам, что не из трусости приняла она ультиматум; вот и поплатится Болгария...»; «Теперь, конечно, турки рассви-

репели и истребляют Болгарию вконец. Они жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевну и замедлим двинуться далее, турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят все, что только можно в ней истребить, пока еще есть время». «Такой высокий организм, как Россия,— продолжал он,— должен сиять и огромным духовным значением... Одной материальной выгодой, одним «хлебом» — такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться».

Цель России — «жить высшей жизнью, великой жизнью, светить миру великой, бескорыстной и высшей идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом...» Ведь он же, Достоевский, наконец, утверждал: «Если нации не будут жить высшими бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим интересам, то погибнут эти нации несомненно, окачeneют, обессилеют и умрут». Как нужно было бы сейчас вспомнить эти слова Достоевского в нынешних межнациональных трагедиях! Но ты вспомнишь, а тебе вспомнят в ответ все вышеприведенное, да еще про «жида», который «накинулся» на беззащитный русский народ.

Если даже допустить, что русский народ лишен тех пороков, которые Достоевский отмечает у других народов (весь народ, по преимуществу, лишен), если даже все, что пишет Достоевский о других народах, верно, то не хватает мне в этих его строчках боли за тех, кто подвержен всем этим порокам (ведь заблудшему всегда тяжелее и сострадания он заслуживает больше всех). Иначе же получается нечто вроде культа русского народа...

Но если, таким образом, мы предъявляем Достоевскому упрек в создании культа народа, то уж в создании кумира его, наверно, никак невозможно упрекнуть? Ведь ни один из русских писателей не сделал, пожалуй, так много для разоблачения философии человекобожия.

Но вспомним опять теорию о. С. Булгакова, о которой шла речь выше. Выделение какого-либо сообщества людей — класса или народа, — в качестве луч-

ших, избранных, более достойных по сравнению с остальными, неизбежно чревато возникновением культа руководителя этих достойных как лучшего среди людей.

И вот в главе «Геок-Тепе» «Дневника писателя» за 1881 г. читаем: «Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости Белого Царя и в несокрушимости меча его... имя Белого Царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индийской императрицы, превыше даже самого калифова имени». История скобелевских завоеваний в Средней Азии и поддержка их Достоевским — вообще, что называется, особь статья. Достаточно вспомнить язвительные издевки его в адрес славянофилов, которые величие русского народа мыслят в виде торжества над другими народами, «несколько даже физического», — и такую фразу из главы «Геок-Тепе» «Дневника писателя» за 1881 г., перечисляющую выгоды азиатских завоеваний для России: «В Европе мы были лишь приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами»\*. А ведь именно Достоевскому принадлежит великая фраза, которую надо бы помнить любителям расширять и укреплять границы великой России любым путем (и тем, кто одобряет действия всех политических деятелей, способствовавших этому, вплоть до Сталина). Вот эта фраза, которую я бы предложил в качестве лозунга подлинным патриотам России: «Правило железа и крови не наше».

А теперь представим себе: если бы все вот это — о «жидах»-кровопийцах, экономически порабащивающих русский народ и «успешно закупающих либеральное мнение», о необходимости выселения татар из Крыма, о благотворности завоевания русским народом новых географических пространств и о смутьянах-радикалах, мешающих укреплению государства и угрожающих существующему порядку — мы прочитали у кого-нибудь из современных писателей, как бы мы к нему отнеслись? Без сомнения, он был бы подвергнут обструкции со стороны всех прогрессивных сил,

---

\* Вспомним: «Да если тут требование поклонения, то святое, бескорыстное желание всеслужения становится тотчас абсурдом. Слугам не кланяются, а брат не коленопреклонений требует от брата» («Дневник писателя» за 1880 г.).

зачислен в националисты и махровые консерваторы и голос его не был бы авторитетен в обществе.

Что же мы удивляемся такому отношению к Достоевскому в русском обществе 70—80-х годов прошлого века? Вставая на путь того же разделения на «своих и чужих» — языческого, в конечном счете, разделения — Достоевский тем самым неизбежно сужал, во много раз сужал ту аудиторию, в которой должен был быть услышан. А может, и расширял еще тот раскол, который, расплываясь подобно трещине в земной коре, привел в итоге к обвалу кровавейшей гражданской войны. Даже такая личность, как Достоевский, оказался бессилён перед этим языческим искушением. Каково же было его более слабым духовно современникам! Информация к размышлению для нас сегодня — о них, тогдашних, и о нас — информация предостерегающая.

Но, конечно, это был Достоевский, не будем ни на минуту забывать об этом.

Это был Достоевский, чья блистательнейшая «Пушкинская речь» в том же 1881 г. свершила — пусть на короткий миг — чудо всеобщего примирения, повторившееся затем в день его похорон.

---

— Это был Достоевский, который иногда, по его собственному признанию, «сбивался», но который всем существом своим, всем созданным им и всем бытием своим на земле был, как магнит к полюсу, направлен к Истине и потому оставил нам такой свет, который не позволял нам отчаяться весь этот век и поныне освещает нам дорогу.

## V. Урок на завтра: пути выхода из трагедии Отечества

Каковы же основные уроки Достоевского для нас сегодня? Именно сегодня, когда многие трагические результаты «бесовства» уже, кажется, очевидны всем и помощь Достоевского вроде бы не нужна?

Первоочередная задача сегодня — духовное просвещение народа. Много десятков лет понадобилось, чтобы понять то, на что ясно указывал Достоевский еще в 1863 году: «Социалисты хотят переродить человека, *освободить* его, представить его без Бога и

без семейства \*. Они заключают, что, изменив насильно экономический быт его, цели достигнут. Но человек ... изменится ... не от *внешних* причин, а не иначе как от перемены *нравственной*... Можно ли достигнуть этого оружием? И как сметь сказать заранее, прежде опыта, что в этом спасение? И это рискуя всем человечеством».

Истинное значение этого предупреждения обнаружилось — для большинства людей — только в наше время, увы. Перерождение, осуществлявшееся невиданными в истории по жестокости средствами, действительно было направлено на то, чтобы освободить человека от всех его традиционных устоев, создать новый тип «хомо советикус» — существо, лишённое религии, нравственности, собственности, свободы, личного мужества и инициативы. Тех, кто не согласен был на подобные перемены — просто не мог так перемениться, — уничтожали. В отношении других — и их потомков — казалось, удалось добиться нужного результата.

Но только казалось. Человеческая душа бессмертна. Несколько лет всего прошло после освобождения от гнета — и какой подъём смелости и свободы в людях, несопоставимый количественно и качественно с прошлым, мы наблюдаем, как ожила, кажется, уже навек, вытесненная из жизни общества Церковь и как люди потянулись к ней («советские» издержки этого процесса, порожденные партийными функционерами и по их же заданию — в основном — усиленно муссируемые, быстро отпадут).

Мне скажут — а кровавые столкновения, начавшиеся повсеместно с отменой запретов, а раздоры и расколы, порожденные демократизацией?

Но не демократизацией они порождены, а тем насилием, которое вдавливало людей в землю десятилетиями, сжимая до предела пружину отчаяния и злобы — сейчас вырвавшуюся в обратную сторону. Сталкиваются и враждуют друг с другом со злобой и

---

\* Долгое время коммунисты приводили пророчества своих противников о разрушении семьи после пролетарской революции как пример пропагандистской лжи. Но вот прошло время — и по числу аборт и разводов наша страна занимает едва ли не первое место в мире. Да, семья сохранилась, но, как и всюду у нас, внешняя форма служила прикрытием ужасающей деградации.

ненавистью, убивают друг друга — рабы (подчас их жертвами становятся и свободные люди).

Свободный человек, ощутивший в душе своей братство с остальными людьми, озабочен в первую очередь тем, что он недодал обществу, а несвободный человек, раб в душе, озабочен или чаще разгневан по поводу того, что общество ему недодало.

Сейчас еще более, чем сто лет назад, актуальны слова Достоевского: «Наша новая Русь наконец поняла, что только один есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится,— это всеобщее духовное примирение, начало которого лежит в образовании».

Это понятие — **образование** — Достоевский трактовал очень широко и, главным образом, именно как духовное просвещение народа, просветление духа его, упрочение его на позициях абсолютной общечеловеческой нравственности и культуры (понимаемой опять-таки не в смысле школьной эрудиции). Можно утверждать — в этом сходятся многие русские историки дореволюционного периода,— что именно крайне недостаточное распространение подобного образования в народе, вызванное историческими обстоятельствами (татарское нашествие и иго, взаимоотношения государства, личности и Церкви и т. п.), обусловило столь долгое и прочное положение языческого мироощущения в душах и сознании людей\*.

«Я даже так думаю,— писал Достоевский в 1881 г.,— будь у нас настоящее, заправское просвещение, то и разъединения бы никакого не произошло у нас вовсе...» О роли духовенства мы сейчас не говорим — это проблема особая. Но чрезвычайно велика и ответственна здесь и роль интеллигенции. «Страшно нужна народу интеллигенция, предводящая его,— утверждал Достоевский,— сам он жаждет и ищет ее...» Сейчас уже, пожалуй, не жаждет и не ищет, но тем более нужна активность и самоотверженность тех, кто мог бы содействовать духовному просвещению людей.

Во все времена, начиная от Радищева — то есть с появлением на Руси интеллигенции как таковой,— именно она стояла у истоков всякого освободительно-

---

\* Обусловило именно в России; на Западе, где языческое мироощущение тоже далеко не изжито, эти процессы шли по-иному.

го движения и оплодотворяла его своими идеями. Из Октябрьской революции интеллигенция была практически выключена. Но не кем-либо, а, в первую очередь, по собственной вине (а потом уже удалялась другими). Ленин писал: «Интеллигенция не есть *самостоятельный* экономический класс и не представляет поэтому никакой *самостоятельной* экономической и политической силы» (ПСС, т. 14, с. 191.) Он отмечал в русской интеллигенции следующие качества: склонность «рассуждать» о необходимости что-либо сделать, «оперировать» общими словами и понятиями, предоставляя возможность действовать другим; интеллигенция эта «большой частью немножко по-русски халатна и неповоротлива», «полна, большей частью, неопределенных оппозиционных настроений, она питается либеральной трухой»; «крайние формы борьбы ужасают интеллигентов»... (ПСС, т. 12, с. 92; т. 16, с. 40; т. 22, с. 303.)

Оставив — по преимуществу в начале века — народ в одиночестве, отдав его на разрушение революционным идеям, столь модным, красивым и романтическим, и даже заигрывая с ними, интеллигенция в катастрофический период народной истории оказалась не у дел.

Начнем с того, что к началу 1917 г. в России в составе политических партий находилась ничтожная частица всей интеллигенции, вероятно, процента 2—3. В течение же этого решающего для судеб России года число профессиональной интеллигенции в составе партий еще более уменьшилось. Аполитичность интеллигенции только лишь возрастала. В марте 1917 г. среди 3000 депутатов Петроградского Совета «находилось не более полутора десятков профессиональной интеллигенции. Видимо, не были существенно иными пропорции между социальными группами депутатов и в составе Советов других крупных городов»\*. Интеллигенция, по существу, окончательно оставила народ без какой-либо защиты перед призывами к раз-

---

\* Знаменский О. Интеллигенция накануне Великого Октября. Л., Наука, 1988, с. 19, 134. Я беру фактические данные из этой книги, хотя с общей позицией ее автора, в сугубо ортодоксальном духе рассматривающего всю непролетарскую интеллигенцию как бессильную и преимущественно бесполезную в социальном отношении «прослойку», в лучшем случае способную не мешать прогрессивному общественному переустройству, категорически не могу согласиться.

рушению всего и вся, кровопролитию и братоубийственной войне. Как с горечью писал современник тех событий, крайне необходима была «не зажигательная речь митингового оратора-разрушителя, а спокойно-твердое, убежденное разъяснение интеллигентного жиджителя»\*. Увы, такого слова почти не было. Устранившись от политической борьбы, от того, чтобы войти в состав партий и изнутри направлять их разумным курсом, интеллигенция несет на себе значительную часть вины за происшедшее, ибо в отличие от многих, действовавших тогда вслепую, под влиянием эмоций и искаженного чувства, людей, интеллигенция должна была понимать — и понимала, — к чему ведут призывы к разрушению и кровопролитию.

Когда же революция совершилась, большинство интеллигенции заняло позиции зрителей, да еще и приветствующих разрушение как некое справедливое возмездие, «непостижимую мистерию» (А. Таиров), «сверхъестественную, восхитительную красоту» (А. Блок), очистительную грозу, зарю новой жизни, рассвет и т. п., воспевавших романтику революции, рассчитывавших, что «сказочный принц — народ» в одночасье совершит чудо — устроит новое прекрасное царство свободы...

К октябрю 1917 г. интеллигентов в партии большевиков было 5—6% \*\*. Это, конечно, не случайно. Интеллигент, человек культуры, изначально воспитан в добром отношении к миру и людям, к приятию их, доверии к другому, доброжелательстве и оптимизме, понимании высочайшей ценности человеческой жизни, неприятию насилия, в стремлении решить все проблемы с помощью совести и разума, эволюционным путем. Но, ставя своей целью поднять людей на жестокую борьбу за власть, партия большевиков не могла опираться на эти качества, ей нужны были врожденная агрессивность, порожденная борьбой за существование, в которой рождались и жили представители обездоленных слоев общества, их недоверие к любому чужому, инстинктивное отталкивание его, склонность невысоко оценивать свою и чужую жизнь. Интеллигент не будет, как тот ленинский собеседник-рабочий, рассуждать по принципу «лес рубят —

\* Знаменский О. Интеллигенция накануне Великого Октября, с. 150.

\*\* Там же, с. 134.

щепки летят», «с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату интеллигенту, как до звезды небесной, далеко» (ПСС, т. 34, с. 322—323). В тот период Горький писал обо всем этом так: «Великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого, в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма»\*.

Интеллигенция не пожелала войти в массу этих людей и попытаться просветить их, повернуть их с кровавой дороги. Не пожелала, да, пожалуй, уже и не могла, ибо утратила самое главное средство для этого — единство с народом в слове Божьем, единство в вере, да и вообще утратила какой-либо контакт с народом. К осени 1917 г. «политико-психологический барьер между интеллигенцией и революционными народными массами повысился»\*\*. Очень характерна такая оценка из будней февраля 1917 года, запечатленная в воспоминаниях В. Б. Станкевича: солдаты «сосредоточенно сидели и жевали, не выпуская из рук винтовок, не разговаривая даже между собой, не делясь впечатлениями, но каким-то стадным чувством сознавая что-то общее, думали по-своему, по-иному, по-непонятному и не поддающемуся истолкованию»\*\*\*. Тут любопытнее всего, конечно, взгляд интеллигента на эту группу солдат, абсолютная стена непонимания между ними. Лекторов-интеллигентов, «людей науки», пытавшихся на лекциях говорить о чем-либо, кроме насущно интересующих массы вопросов (главным образом вопроса о земле), попросту не слушали\*\*\*\*, зато, скажем, Троцкому, призывавшему «всеми силами, любыми средствами» поддержать Петроградский Совет, «взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и дать землю, хлеб и мир!», внимали в квазирелигиозном экстазе\*\*\*\*\*, даже не задумываясь над тем, каким же образом Совет сможет все это дать (хотя даже в среде большевиков были трезвые предвидения того,

---

\* Знаменский О. Интеллигенция накануне Великого Октября, с. 110.

\*\* Там же, с. 299.

\*\*\* Там же, с. 80.

\*\*\*\* Там же, сс. 150—151.

\*\*\*\*\* Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., Прогресс, 1989, с. 104.

что ничего этого они дать не смогут). «Нас, т. е. всю Россию,— предупреждал Достоевский,— ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события... Могут вдруг наступить великие факты и заставить наши интеллигентные силы врасплох...» Что и произошло, увы...

Итак, подводя итоги, мы можем сказать, что Достоевский видел и истоки, и результаты будущих трагедий гораздо яснее даже многих из нас сегодня. Но никогда не позволял надолго овладевать собой самому страшному греху — отчаянию. Он верил в народ: «...в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силой обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божье. Во всяком случае, спасет себя сам, если бы и впрямь дело дошло до беды». По поводу подобных суждений тоже можно сказать: Достоевский ошибся. А может, он просто видел дальше?

Но сам Влас сегодня — при том, что большинство, если не все подлинные Власы были уничтожены — вряд ли справится с ложью. Чрезвычайно важна, просто необходима помощь интеллигенции. Однажды, в роковую для России минуту, интеллигенция не смогла выполнить своего предназначения, оставив народ беззащитным и обрекши его тем самым на кровавую братоубийственную бойню, в результате которой к власти над народом пришли не петруши верховенские даже, а липутины, шигалевы, федыки-каторжники, фердышенки и прочие, олицетворявшие самые темные стороны в народном характере; после чего они десятилетиями соответствующим образом формировали своих подданных. Конечно же, почти поголовно уничтожена была ими и интеллигенция. «А между тем,— продолжает Достоевский свою мысль о Влаसे,— о какая бы огромная, законодательная и благословенная сила... уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом? Единение духовное то есть. Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы были бы достигнуты разом!» Если бы...

Но сейчас вновь наступает роковая минута. И к нам сейчас вполне применимы слова Достоевского, сказанные более ста лет назад: «Нас, т. е. всю

Россию, ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события. Могут вдруг наступить великие факты и заставить наши интеллигентные силы врасплох, а тогда не будет ли поздно?»

Однако языческие раздоры продолжаются поныне повсеместно в народе, и интеллигенция не является здесь исключением. Дочитаем до конца цитировавшийся выше отзыв Достоевского о славянофилах: «Что за фанатизм вражды! Что за редкая уверенность в сокровенных промышлениях противников, в сердце и совести их! Неужели любить родину и быть честным дано в виде привилегии одним только славянофилам? Кто мог сказать это, кто бы решился написать это, кроме человека в последней степени фанатического иступления! Да тут почти пахнет костром и пытками!.. Мы не преувеличиваем...

Но славянофилы упорно хотят видеть в западниках своих врагов и говорят о них не иначе, как с презрением и проклятием, забывая или, лучше, не желая понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременным желанием самопроверки, самопознания... самим процессом жизни».

Если слова Достоевского о «фанатизме вражды» не были преувеличены тогда, то тем более не являются они преувеличением **теперь**, когда, мягко говоря, разногласия в среде интеллигенции приводят к тому, что забыты уже не только приличия, но и собственно народные интересы, да и средства уже любые идут в ход. «Только чертей тешим разногласиями нашими», — писал Достоевский. Очень печально, что и до сих пор еще имя Достоевского, авторитет Достоевского, вырванные из контекста цитаты из его произведений используются как оружие для взаимного «побивания» в междоусобной борьбе.

Сторонники великого государства, великого предназначения России — рекрутируемые в основном из рядов КПСС, — «забыв» прежние отношения своей партии с Достоевским и то, что Достоевский именно в идее всечеловеческого братства и любви видел это предназначение, авторитетом гениального писателя пытаются подкрепить призывы «не выпускать из рук» бывшие советские республики, а то и вернуть Польшу с Финляндией.

Да, высказывания Достоевского — мы выше виде-

ли это — могут, при известной «ловкости рук», послужить и политическим амбициям «государственников». Но одно можно сказать безошибочно: при всей своей любви к государству Российскому Достоевский сегодня не требовал бы присоединения ни одной пяди земли к сфере господства (еще далеко не окончившегося) коммунистических идеологов и «практиков».

Скажу и о другом. Сейчас чрезвычайно популярен стал «лозунг» «Красота спасет мир», со ссылкой на Достоевского (даже шоу-конкурсы красоты им открывают). Между тем у Достоевского эта фраза принадлежит одному из персонажей, князю Мышкину (да и то высказывает он ее не прямо — Ипполит спрашивает: правда ли, что Мышкин говорил это Коле?), встречается несколько раз в черновиках романа «Идиот», но нигде не написана и не высказана им лично от себя. Это и не удивительно, ибо что такое «красота спасет мир», с точки зрения христианства? Какая красота — она ведь может быть разного «наполнения»? Разве военный самолет-истребитель не красив? Всякий ли красивый человек духовен? В принципе эту фразу мог бы высказать и фашист: они ведь тоже любили и умели создавать красоту: красивую форму, парад, гармонию и порядок... Вспомним, что именно Петруша Верховенский настойчиво повторяет: «Я люблю красоту! Я очень люблю красоту...»

Достоевский предвидел все эти «непонимания» и раздоры. «...Каждый возлюбил себя больше всех. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере веры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их камнями... Зато стали появляться люди, которые стали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом как всем вместе как бы и в согласном обществе. Для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее». «...Люди остались одни, как желали: великая прежняя идея оставила их...

И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни и разом почувствовали великое сиротство».

Но Достоевский провидел и дальше: «И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и **бросят волхвование...**»

Будем надеяться на это и мы.

«Ошибки и недоумения ума,— писал Достоевский,— исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца». У нас, увы, накопилось слишком много ошибок сердца — то есть таких ошибок, которые поразили естество наше, наше сознание и подсознание, нашу волю и характер. Исправлять их, по всей видимости, придется долго. Но начнется этот процесс, только если мы сумеем **понять**. Продлим немного ту цитату, которая уже приводилась в этой работе: «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале... из него исходят и все наши гражданские идеалы... Идеал гражданского устройства единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начнется...» При чем не надо представлять дело так, что сначала мы немного поусовершенствуемся, а потом все-таки возьмемся за социальные преобразования. «Не «начало только всему» есть личное самосовершенствование,— писал Достоевский,— но и продолжение всего, и исход»; «Поверьте, что если они (единицы.— К. С.) вступят на путь истинный, найдут его, наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно».

Такой путь нереалистичен,— говорят ныне многие, даже те, кто слишком хорошо понимает пагубность того пути, по которому мы шли с целью усовершенствования человека и общества,— в обществе есть и будут люди, желающие зла, но надо сделать так, чтобы они не смогли осуществлять свои желания.

Но тогда спокойствие общества будет основано все-таки на насилии. А насилие — не тот фундамент, на котором что-либо можно прочно установить. Это во-первых. А во-вторых, любое насилие подразумевает правоту одних и неправоту других. Все тот же вечный вопрос о сочетаемости насилия и нравствен-

ности. «Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать? — спрашивает Достоевский. — Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся».

Всякое общество, существовавшее или существующее в христианском мире и принявшее насилие, вынуждено как-то изменять, «модифицировать» учение Христа, ибо Христос ведь отвергал насилие. Неизбежно возникает, как писал Достоевский, потребность в **«новой нравственности»**. Дальше всех пошел здесь коммунизм, дальше потому, что насилие он наделял благородным обликом. «Коммунизм произошел из христианства, из высокого воззрения на человека, но вместо *самовольной любви*, не любимые берутся за палки и хотят сами отнять то, что им не дали не любившие их». Ну а что следует потом, каждый из нас мог бы рассказать.

И вот какую формулу устройства общества предлагает Достоевский: «Я хочу не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам».

А теперь следует сказать несколько слов о нашем «реализме» и «мечтательности» Достоевского. Достоевский здраво понимал реальное положение вещей: «Реальность и истинность требований коммунизма и социализма и неизбежность европейского потрясения. Но тут наука — вне Христа и с полной верой. Должны быть открыты такие точные уже научные отношения между людьми и новый нравственный порядок — (нет любви, есть один эгоизм, т. е. борьба за существование) — науке верят твердо. Массы рвутся раньше науки и ограбят. Новое построение возьмет века. Века страшной смуты. А ну как все сведется лишь на деспотизм за кусок. Слишком много отдать духа за хлеб.

Если любить друг друга, то ведь сейчас достигнешь. Чтоб любить друг друга, нужно бороться с собой, — говорит Церковь. Атеисты кричат: измена природе. Бремена тяжкие, тогда как это лишь наслаждение».

Но не все, конечно, так легко и быстро достижимо. Пока еще, отмечал Достоевский, простые истины эти понятны очень немногим.

«Социалисты чтут христианство в идеале. (Хоть и ругают его ...Далее Христа в нравственном отношении ничего не сказали.) Но не чтут в действии, деятельны. Ибо если б все деятельно были христианами, то ни одного социального вопроса не было бы поднято. Были бы подняты вопросы экономические, кухонные, например, лесу нет и простору нет ...Были бы христиане, уладили бы все. **Но невозможно быть христианами пока всем, возможны лишь отдельные случаи.** (Может быть, эти отдельные случаи ведут и сохраняют *тайнство* людей.) Невозможно, может быть, и по каким-нибудь законам природы человеческой, например, война каждые 25 лет».

Итак, даже в те времена, когда большинство граждан России были православными, Достоевский считал, что «невозможно быть христианами (в истинном значении этого слова.— К. С.) пока всем, возможны лишь отдельные случаи». Но устремленность к идеалу он считал нужным непременно сохранить в народном духе — именно поэтому; при устремленности к иному «идеалу» — обеспечения «животишек» — народ, предрекал Достоевский, окажется на пути к гибели. Образуется — как в нашем случае — общество, в большей части своей озабоченное лишь материальными потребностями.

Однако даже лишенное особых пороков и стремящееся к подлинной справедливости общество не выстроишь на одной лишь разумной необходимости.

«Закон разумной необходимости — это прежде всего **уничтожение личности** (мне же, дескать, будет худо, если нарушу порядок. Не по любви работаю на брата своего, а потому что мне это выгодно самому) (и чуть ниже: «Разумная необходимость — это все тот же хлеб (из камня)» — то есть первое дьяволовое искушение: предложение Христу обратить камни в хлебы и тем сделать людей счастливыми.— К. С.)

Христианство же, напротив, наиболее провозглашает свободу личности. Не стесняет никаким математическим законом. Веруй, если хочешь, сердцем.

И по христианству, и из самих слов Христа можно тоже вывести, что любовь есть выгода, по крайней мере принимать выгоду, но делать все же не для выгоды, а для любви.

Не хочу *зла...*

Церкви атеистов — Луи Бланы, коммунары, право, **возмездие».**

Ныне прозаики, поэты и публицисты часто любят ссылаться на слова Достоевского о недопустимости счастья, построенного на слезинке ребенка, — но как не более чем на красивую метафору, как бы снисходительно улыбаясь про себя: это идеал, но недостижимый в нашем грешном мире, иначе бы все движение человечества остановилось, ибо почти каждый конкретный шаг причиняет какому-то ребенку боль и т. д. Мечтатель Достоевский имел в виду будущее райское состояние человечества... Между тем Достоевский, при всей своей мечтательности, трезво стоял на почве реальности. Вот очень важная и малоизвестная, к сожалению, его запись, непосредственно касающаяся данного вопроса. Речь идет о казни французскими революционерами малолетнего французского короля Людовика XVII: «Людовик 17-й. Этот ребенок должен быть замучен для блага нации. Люди не компетентны. Это Бог. *В идеале* общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасения. **Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та.** Логика событий действительных, текущих, злобы дня, не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость всегда и везде единственное *начало жизни, дух жизни, жизнь жизни*».

Речь, таким образом, идет вот о чем: избежать детских страданий на определенной стадии развития человечества невозможно, но помнить об идеале как о цели надо постоянно; считать муки детей естественными нельзя никогда — и коль скоро ты принимаешь то положение вещей, которое сложилось в результате определенных действий, в том числе и смерти ребенка, — ты должен принять на себя и эту смерть.

Через некоторое время следует такая запись: «Victor Hugo — историческая необходимость (Louis XVII) (то есть В. Гюго утверждает, что казнь Людовика XVII была исторической необходимостью. — К. С.); **не необходимость, а неминуемость**, это я пойму с хищным типом хищного народа французского». Хотел было не доводить цитирование этой фразы до конца, ибо последняя ее часть вроде бы противоречит тому, что я хочу здесь доказать, но потом ре-

шил, что Достоевский такое цитирование не одобрил бы...

Да, он писал так, особенно в черновиках, и, повторяю, психология противостояния России европейскому миру была ему свойственна, в этом отношении он был сыном своего века; не думаю, чтобы мы его здесь опередили даже сейчас, особенно те из нас, кто искренен и кто вплотную сталкивался с отношением Запада к нашим проблемам... Но в отличие от многих из нас и от большинства своих современников, Достоевский понимал, что так не должно быть и — обязательно — так не будет всегда.

Он понимал, что и отдельный человек, и народ, и все человечество должны пройти — и не в одном поколении — путь освобождения от вражды и зла, порождающего вражду. И путь к этому один — приобщение к божественному Началу в себе самом. «Лишь на основе Христа помиримся». А до этого будет много и столкновений, и войн, но идеал, реальность его не должны никогда исчезать из поля зрения людей. Понимаем такое рассуждение — в форме диалога — из подготовительных материалов к «Дневнику писателя»:

—...Ведь мы реалисты. Нравственность ведь тот же эгоизм, то же чувство самосохранения, значит, опять-таки только одна моя выгода. А о моей выгоде позвольте мне самому беспокоиться.

— Да ведь нравственность не рассуждение, не выгода, это скорее чувство, чувство неизвестное, почти инстинктивное, то есть природное: венец его, последнее слово этого чувства, этого влечения человечества. Непрерывающаяся в нем с начала веков, есть уже объявленная, открытая уже как формула. Именно что верх счастья есть жертва за ближнего до положения жизни.

— Вы хотите, чтоб я положил жизнь и был счастлив...

...идеал, а не реализм всегда управлял человечеством. Идеал в том, что я положу жизнь и все просветятся, и догадаются, почувствуют, что нет выше счастья как это, и сами положат жизнь за меня. Тогда жизнь обратится в рай, люди будут обниматься и целоваться, всякий будет работать один для другого, разбитые *силы* усилятся во многие миллионы раз, жизнь увеличится каждым мгновением счастья. Сла-

ва и подвиг личности будут вознаграждаться не утолением тщеславия, а восторгом благодарной любви, и тогда — кому ваш социализм, ваши формулы, ваши искания.

Если я люблю всех и каждого и всякий всех то же самое, то мы поневоле все тотчас же пойдем как жить».

Это может показаться красивой сказкой, можно сказать — это мечты, утопия, а вот социализм учитывает реальное состояние человека и его нравственности. Но жизнь показала, что социализм-то как раз этого и не учитывает (потому что истинную природу человека — как, во-первых, и в главных, создания Божьего, наделенного бессмертным духом, и, во-вторых, существа консервативного, изменяющегося очень медленно, не всегда действующего из соображений одной лишь выгоды, к тому же рационально вычисленной — природу эту теоретики социализма игнорируют). Следовательно, социализм-то и является утопией (требующей все больше и больше кровавых жертв).

По этому поводу Достоевский писал: «Наука — теория. Знает ли наука природу человеческую! Условия невозможности делать зло — искореняют ли зло и злодеев?» — «Предположится наукой найденный муравейник. Потребуется лишения, условия, ограничения личности. Для чего я стану ее ограничивать. Для хлеба. Не хочу хлеба, и взбунтуется». А вот — еще резче, кажется, впрямую к нашим временам, хотя обращено к идеологам революционно-демократического лагеря того времени:

«Непочтительный Коронат» (повесть М. Е. Салтыкова-Щедрина. — К. С.). Плотоядность молодежи. Да ведь вы сами того хотели. Чтоб никакого духа, вы истребили Бога. — Но и без Бога надо быть гуманным, любить человечество. — Но на кой черт я буду гуманен.

Я хочу, чтоб весело, весело, весело, чтоб со мной спали, и резать, и резать, чтоб есть слабого сильным.

Скажут: вам стыдно это. — Почему?

А мне наплевать на вас».

Никакая наука, кроме того, не подскажет, как отучить человека от корыстолюбия. А поскольку чем непросвещеннее духовно люди и чем более они были обделены в начале жизни, тем корыстолюбие в них, как правило, сильнее, то корыстолюбие пролетария,

а тем более люмпена поистине не знает границ. Достоевский по этому поводу писал так:

«...Цивилизация, откинув религию, тем самым признала смерть свою, *ибо* должна нести в себе рабство — хотя бы в виде *пролетариата* — и обоготворение прав собственности.

...Религия же все это разрешает. ...Каким образом? Собственное достоинство пролетариата и свобода духа! без плотоядности собственника».

Но поскольку в нашей стране почти сразу же после революции установилась неограниченная власть меньшинства над большинством, а доступ к любой собственности был лишь у тех, у кого власть и сила, то получилось — варварское, языческое богатство одних и нищета других, нищета, порождающая ожесточение и зависть. Достоевский подсказывает:

«Самоограничение и воздержание телесное для свободы духовной, в противоположность материальному обличению (то есть почему у других больше, чем у нас.— К. С.), непрерывному и безграничному, приводящему к **рабству духа**».

«Наука в нашем веке опровергает все в прежнем воззрении. Всякое твое желание, всякий твой грех произошел от естественности твоих неудовлетворенных потребностей, стало быть, их надо удовлетворить.

Закон необходимости или закон любви? Но закон науки не устоит, не стоит того хлеб. А приняв закон любви, придете к Христу же. Вот это-то и будет, может быть, второе пришествие Христово. Но пока что перенесет человечество?» «Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству,— предупреждал Достоевский,— потому что человек тотчас спросит: для чего мне любить человечество!» Естественно, речь здесь не идет о том, что, уверовав в Бога, человек признает над собой некую сверхъестественную силу, **заставляющую** любить человечество, но лишь о том, что вера в Бога позволяет человеку понять и почувствовать радость любви к человечеству и невозможность существовать без этой любви. «Я утверждаю,— писал Достоевский,— что любовь к человечеству — немислима ... непонятна и *совсем невозможна* без совместной веры в бессмертие души человеческой».

Не следует подозревать в стремлении к торжеству религиозного идеала — покушение на свободу лично-

сти: насильственное обращение атеистов в верующих, упразднение одних верований во имя других. Настоящая свобода человека начинается лишь тогда, когда он освобождается от зла в себе самом, действует в согласии с божественным началом в себе самом (напротив, когда он действует по велениям зла — внутреннего или внешнего — он все более попадает к нему в рабство). Какими путями достичь этого — нам еще предстоит искать и искать. Одно должно быть ясно (и постоянно подчеркивается в рассуждениях Достоевского) — недопустимо даже малейшее применение насилия, физического либо идеологического. Благая цель должна достигаться лишь благими средствами. Достоевский верил, что именно православная Россия воплотит ту мечту о гармоничном и справедливом устройстве человеческой жизни, о гармоничном соотношении духовного и материального в бытии, воплотить которую люди многие века пытались с помощью социальных переустройств. Кажалось, эта вера Достоевского рухнула и сгорела в кроваво-огненных сполохах гражданской войны, догорала в годы репрессий, дотлевала в лишенные воздуха 60—80-е годы. Но Достоевский, как мы видим, все это предугадывал. Даже в наши дни он, можно сказать, заглянул, если дозволено будет сравнить нынешнее освобождение с отменой крепостничества. «С уничтожением крепостного права кончилась (не закончилась) реформа Петра и петербургский период. Ну и *saue qui peut* \*.

На минуту наступит американизм.

Народ идет. Вот идеалы которого осмеял Потугин» (персонаж тургеневского «Дыма». — К. С.).

Действительно, жизнь убить невозможно, народ убить невозможно. Дух неуничтожим — и ныне вновь укрепляются и очищаются души людей, и пусть сейчас восстановление утраченных связей с Церковью, утраченной духовности происходит порой в искривленных формах (ведь и бывшие власти наши десятилетиями стремились прервать эти связи или уж искривить как только возможно), жизнь неизбежно выправит формы, как новое вино — меха. Поэтому надежда Достоевского именно сейчас начинает обретать реальные, зримые очертания для нас.

---

\* Спасайся кто может (*фр.*).

## СОДЕРЖАНИЕ

Высвобождение «злого духа» (родословная социализма по Достоевскому) . . . . .	3
Как русский народ стал «наилучшим материалом в Европе» для социалистической пропаганды, или Ошибка Достоевского, обернувшаяся гениальным предвидением . . . . .	19
Марксизм и Россия — роковая встреча . . . . .	51
Заложник язычников (Достоевский и «бесы» национализма) . . . . .	69
Урок на завтра: пути выхода из трагедии Отечества . . . . .	80

*Карен Ашотович Степанян*

### ДОСТОЕВСКИЙ И ЯЗЫЧЕСТВО (КАКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО МЫ НЕ УСЛЫШАЛИ И ПОЧЕМУ?)

Редактор *П. Уляшов*  
Технический редактор *Г. Такташова*  
Корректоры *Н. Н. Епифанова, Г. Г. Капитанова*

Сдано в набор 20.08.92. Подписано в печать 10.09.92. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Печ. л. 6. Тираж 2000 экз. Заказ № 1672. Цена свободная.

Бюро пропаганды художественной литературы, 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, Дом книги.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова, 214000, г. Смоленск, пр. им. Ю. Гагарина, 2.

